

Лирика



Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Лирика

ЭКСМО

Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Андрей
Вознесенский



Александр Вознесенский

Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Лирика



Москва
ЭКСМО
2 0 0 4

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-5
В 64

*Самое лучшее, самое любимое —
в книгах этой серии*

Серия основана в 2001 году

Оформление художника *Е. Ененко*

Вознесенский А. А.

В 64 Лирика. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. — 352 с.,
илл.

ISBN 5-699-03330-0

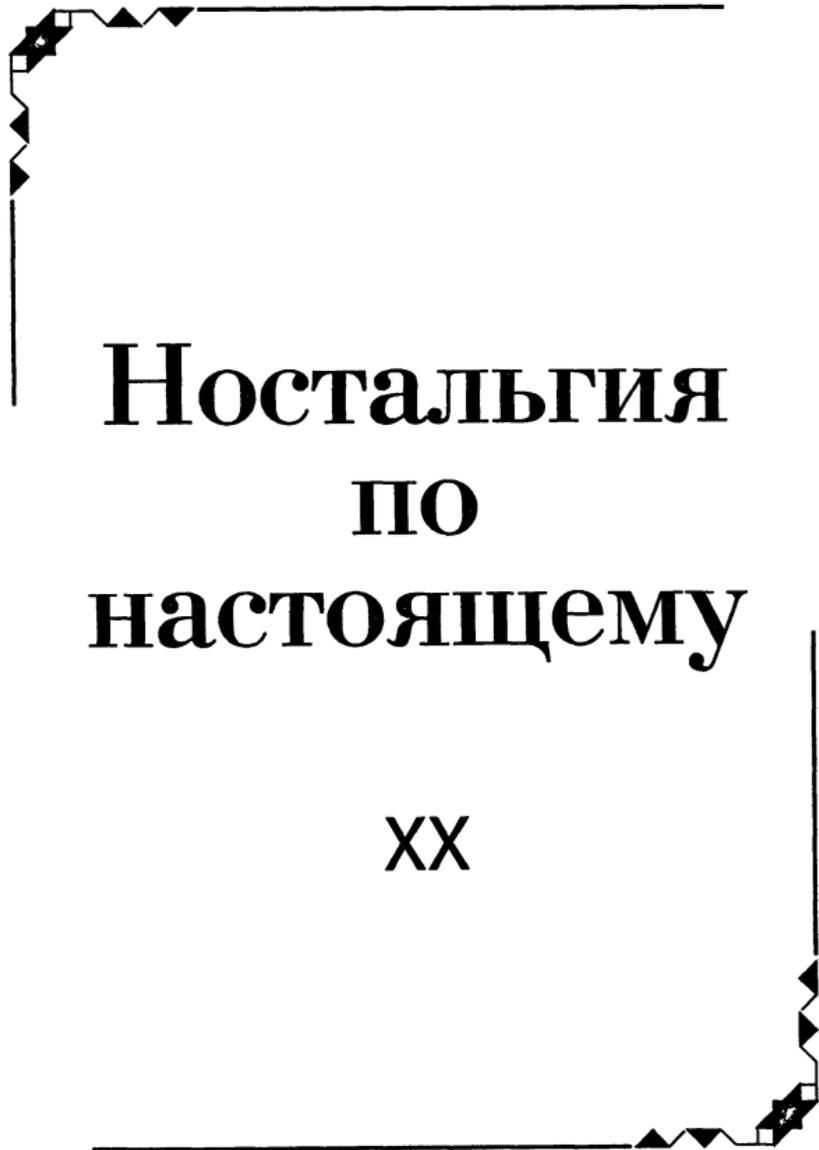
Талантливый человек всегда универсален. В этом сборнике стихов Андрей Вознесенский представлен как лирик, романтик с трагически мятущейся душой, болеющий за людей, за мир вокруг нас. Его поэтические озарения возникают среди обыденной жизни, но тем они ценнее. Открытые им в поэзии звуковые метафоры, видеомы и кругометы — это генофонд русской поэзии.

Но при всех своих открытиях поэт не теряет самое главное свойство своей поэзии — нежный трагический лиризм.

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

ISBN 5-699-03330-0

© ООО «Издательство «Эксмо».
Составление, оформление, 2003



**Ностальгия
по
настоящему**

XX





* * *

Стихи не пишутся — случаются,
как чувства или же закат.
Душа — слепая соучастница.
Не написал — случилось так.

1973





ТИШИНЫ!

Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...
чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни.
Тишины...

Звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание —
молчаливо.
Тишины.

Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее — наназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для нее музыкально касанье,
как для слуха — поет соловей.

Как живется вам там, болтуны,
на низинах московских, аральских?
Горлопаны, не наорались?
Тишины...

Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы поймем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.
И из псов, как из зажигалок,
Светят тихие языки.

1964





РОМАНС

Запомни этот миг. И молодой шиповник.
И на Твоем плече прививку от него.
Я — вечный Твой поэт и вечный Твой любовник.
И — больше ничего.

Запомни этот мир, пока Ты можешь помнить,
а через тыщу лет и более того
Ты вскрикнешь, и в Тебе царапнется шиповник...
И — больше ничего.

1975





* * *

Не придумано истинней мига,
чем раскрытые наугад —
недочитанные, как книга, —
разметавшись, любовники спят.

1972





САГА

Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,
я подумаю: «Боже всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды,
это Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра
безнадежные карие вишни.
Возвращаться — плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернемся
мы вторично, согласно Гафизу,
мы, конечно, с тобой разминемся.
Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным
наше непониманье с тобою
перед будущим непониманьем
двух живых с пустотой неживою.

И качнется бессмысленной высью
пара фраз, залетевших отсюда:
«Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

1977





ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,

мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
так уже положено,
из стен,
матерей

и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,

друзья и враги, бывайте,
гуд бай,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете,
и я ухожу из вас,

о родина, попрощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,

на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как

в резиновую перчатку
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» — будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной —
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретила, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,

хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басыла
пластинка блатного пошиба,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неуютен?

Ты рядом и где-то далеко,
почти что у Владивостока,

я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,

спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

1961





СОН

Мы снова встретились. И нас
везла машина грузовая.
Влюблялись мы — в который раз.
Но ты меня не узнавала.

Меня ты привела домой.
Любила и любовь давала.
Мы годы прожили с тобой.
Но ты меня не узнавала!

1972





ПИЕТА

Сколько было тьмы непониманья,
чтоб ладонь прибитая Христа
протянула нам для умыванья
пригорошни, полные стыда?

И опять на непроглядных водах
стоком оскверненного пруда
лилия хватается за воздух —
как ладонь прибитая Христа.

1977





СКУЛЬПТОР СВЕЧЕЙ

Скульптор свечей, я тебя больше года
вылепливал.

Ты — моя лучшая в мире свеча.
Спички потряхивая, бренча.
Как ты пылаешь великолепно
волей создателя и палача!

Было ль, чтоб мать поджигала ребенка?
Грех работенка, а не барыш.
Разве сжигал своих детищ Коненков?
Как ты горишь!

На два часа в тебе красного воска.
Где-то у коек чужих и афиш
стройно вздохнут твои краткие сестры,
как ты горишь.

Как я лепил свое чудо и чадо!
Весны кадили. Капало с крыш.
Кружится разум. Это от чада.
Это от счастья, как ты горишь!

Круглые свечи. Красные сферы.
Белый фитиль незажженных светил.
Темное время — вечная вера.
Краткое тело — черный фитиль.

«Благодарю тебя и прощаю
за кратковременность бытия,
пламя, пронзающее без пощады
по позвоночнику фитиля.

Благодарю, что на миг озаримо
мною лицо твое и жилье,
если ты верно назвал свое имя,
значит, сгораю во имя Твое».

Скульптор свечей, я тебя позабуду,
скутер найму, умоваю отсюда,
свеч наштампую голый столбняк.
Кашляет ворон ручной от простуды.
Жизнь убывает, наверное, так,
как сообщающиеся сосуды,
вровень свече убывает в бутылке коньяк.

И у свечи, нелюбимой покуда,
темный нагар на реснице набряк.

1977



ЖЕНЩИНА И СТЕНА

Держите шатенку!

Она разбегалась и билась об стену —
лицом, животом бесполезно красивого тела.
Лоб всмятку и платье клочками, как пена —
об стену!

«Видать, она в стельку?»

«Давай я тебя уложу, успокою, раздену» —
об стену!

За пошлость измены!

За страшную цену
красивую быть, да еще современной,
за тело, что мучает ночью, а тут еще денно, —
за съехавший с рамы портрет Рубинштейна,
об все деловые постели, об все «невозможно»,
об «тесно» —
об стену!

(И после удара с минуту, наверно,
две нижние доли дрожали, как после Шопена.)

— Прости эту стену,
что нас резделила с тобой постепенно.
— Прости мне, любимый, что я не убила тебя,
чтоб избавить от плена —
об стену!

Прости эту сцену.

Стена победила. Мы тени системы,
об стену!..

Будь благословенна
та сила паденья, что сбивши колени,
бросает на стену!

Ты вдруг вылетаешь таранящим креном —
сквозь стену —
оставив дыру с очертаньями тела.

Сквозь тело летят облака и ночные сирены.

Будь благословенна.





НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ

Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.

Будто послушник хочет к Господу,
ну а доступ лишь к настоятелю —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.

Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я — другие.
Упаду на поляну — чувствую
по живой земле ностальгию.

Нас с тобой никто не расколлет,
но когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,
будто кто тебя отнимает.

Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по настоящему.

Все из пластика — даже рубища,
надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка...

И когда мне хохочет в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты — в прошлом.
В настоящем — рост понимания».

Хлещет черная вода из крана,
хлещет ржавая, настоявшаяся,
хлещет красная вода из крана,
я дождусь — пойдет настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю как тайну
ностальгию по настоящему,
что настанет. Да не застану.

1975



СНАЧАЛА!

Достигли ли почестей постных,
рука ли гашетку нажала —
в любое мгновенье не поздно,
начните сначала!

«Двенадцать» часы ваши пробили,
но новые есть обороты.
Ваш поезд расшибся. Попробуйте
летать самолетом!

Вы к морю выходите запросто,
спине вашей зябко и плоско,
как будто отхвачено заступом
и брошено к берегу прошлое.

Не те вы учили алфавиты,
не те вас кимвалы манили,
иными их быть не заставите —
ищите иные!

Так Пушкин порвал бы, услышав,
что не ядовиты анчары,
великое четверостишие
и начал сначала!

Начните с бесславья, с безденежья.
Злорадствует пусть и ревнует
былая твоя и нездешняя —
начните иную.

А прежняя будет товарищем.
Не ссорьтесь. Она вам родная.
Безумие с ней расставаться,
однако

вы прошлой любви не гоните,
вы с ней поступите гуманно —
как лошадь, ее пристрелите.
Не выжить. Не надо обмана.





* * *

Не возвращайтесь к былым возлюбленным,
былых возлюбленных на свете нет.
Есть дубликаты, как домик убранный,
где они жили немного лет.

Вас лаем встретит собачка белая,
и расположенные на холме
две рощи — правая, а позже левая —
повторят лай про себя, во мгле.

Два эха в рощах живут отдельные,
как будто в стереоколонках двух,
все, что ты сделала и что я сделаю,
они разносят по свету вслух.

А в доме эхо уронит чашку,
ложное эхо предложит чай,
ложное эхо оставит на ночь,
когда ей надо бы закричать:

«Не возвращайся ко мне, возлюбленный.
Мы были раньше. Нас больше нет».
Две изумительные изюминки
хоть и расправятся тебе в ответ.

А завтра вечером, на поезд следуя,
вы в речку выбросите ключи,
и роща правая, и роща левая
вам вашим голосом прокричит:
«Не покидайте своих возлюбленных.
Былых возлюбленных на свете нет...»

Но вы не выслушаете совет.

1974





МОНАХИНЯ МОРЯ

Я вижу тебя в полдень
меж яблоков печеных,
а утром пробегу —
монахиною моря в мохнатом капюшоне
стоишь на берегу.

Ты страстно, как молитвы,
читаешь километры.
Твой треугольный кроль
бескрайнюю разлуку молотит, как котлеты,
но не смиряет кровь.

Напрасно удлиняешь голодные дистанции.
Желание растет.
Как море ни имеешь — его все недостаточно.
О, спорт! ты — черт...

Когда швыряет буря ящики
с шампанским
серебряноголовые — как кулачок под дых,

голая монахиня бесшабашная,
бросаешься под них!

Бледнея под загаром,
ты выйдешь из каскадов.
Потом кому-то скажешь,
вернувшись в города:
«Кого любила?.. Море...»
И все ему расскажешь.
За время поцелуя
отрастает борода.

1980





ВОДЯНЫЕ

Р. Щедрину

Мы — животные!
Твое имя людское сотру.
Лыжи водные
распрямяют нас на ветру.

Чтоб свобода нас распрямила
на лету —
словно рвешь лошадиную силу
на Аничковом мосту.

Одиночество —
вся надежда на позвоночники.
Не сорваться бы.
Мы — животные цивилизации.

А змеиному телу подруги,
приподнявшейся на руке,
мы, наверное, кажемся плугом,
накренившимся вдалеке.

Берег. Женщина-невеличка.
Счастье — вот оно!
И в боксерских перчатках спички —
мы — животные.

Тренированные на водных,
на земных,
мы осваиваемся свободно
на воздушных и на иных.

Голова на усах фекальных
выплывает из глубины.
Что же держит нас вертикально?
Тяга женщины и страны,

где, каким-то чудом сохранены,
запрокинутые назад,
ухватясь за свои телеграммы,
покосившись, столбы летят.

И когда душа моя по небу
взмлет вовремя —
что ей в это мгновенье вспомнится?
Лыжи вольные!



ВДОЛЬ МОРЯ

На закате бегу между пляжем и морем,
что барашками кажется мухомором,
мимо пляжей, которые кажутся жизнью,
мимо жизни, которая кажется пляжем,
мимо моря, которое кажется смертью,
мимо смерти, которая кажется жизнью,

пляж, который казался десяткой червов,
загорев, оказался пиковой масти,
мимо горя, которое кажется счастьем,
мимо счастья, которого, кажется, нету,
мимо розы, которая кажется чайной,
только пахнет вином, унесенным из чайной,
мимо тайны, которая кажется душой,
мимо дуры, которая кажется тайной,
мимо тайны, которая кажется тенью,
мимо тени, оказывающейся светом,

пробегаю по кругу, что кажется волей,
меж ворами, которые, кажется, в «Вольво»,
меж собакой и волком, что кажется другом,
между дружбой, которая кажется цепью,
мимо церкви, которая кажется Богом,
мимо Бога, оказывающегося церковью,
мимо молний, которые кажутся чайкой,
мимо чайки, что вскоре окажется МХАТом,
мимо молний с копьём, как святой Егорий,
мимо моря, тебя растворившего моря,

полюбила, а кажется, посмеялась,
время — секс, что кажется безопасным,
пронеслась — а кажется, что навеки,
навсегда — а кажется, что напрасно.





КУПАНИЕ В РОСЕ

На лугу меж двух озер
вне обзора от шоссе,
как катается ковер,
мы купаемся в росе.

Ледяные одуванчики,
исхлеставши плечи все,
ароматом обдавайте!
Мы купаемся в росе.

Все грехи поискупали,
окрещенные в красе,
не в людских слезах — в купавиных,
брось врачей! Купнись в росе!
Принимай росные ванны!
Никакого ОРЗ.

Как шурупчик высоты,
дует шершень от шоссе —
где тут ты? и где цветы?
он ворчит: «Ля вам шерше...»

Милые, нас не скосили!
Равны ежику, осе,
мы купаемся в России,
мы купаемся в росе.

Полосатый, словно зебра —
ну и сервис! — след любви.
Ты в росе, в росе, в росевросевросево — серва
ландыша не раздави!..

Как приятно на веранде
пить холодное «rosé»...
Вы купайтесь в бриллиантах!
Мы купаемся в росе.





ЗАМЕРЛИ

Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.

Наши спины — как лунные раковины,
что замкнулись за нами сейчас.
Мы заслушаемся, прислонясь.
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунд
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами —
как ладонями пламя хранят.

Если правда душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.
В моих порах
стрижами заплещутся
души пойманные твои!

А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!
Это нас прижимает друг к другу.

Спим.

1965





БАЛЛАДА-ЯБЛОНЯ

В. Катаеву

Говорила биолог,
молодая и зяблая, —
это летчик Володя
целовал меня в яблонях.
И, прервав поцелуй, просветлев из зрачков,
он на яблоню выплеснул
свою чистую
кровь!

*Яблоня ахнула,
это был первый стон яблони,
по ней пробежала дрожь
негодования и восторга,
была пора завязей,
когда чудо зарождения,
высвобождаясь из тычинок,
пестиков,
ресниц,
разминается в воздухе.
Дальше ничего не помню.*

Ах, зачем ты, любимый, меня пожалел?
Телу яблоневу от тебя тяжелеть.
Как ревную я к стонущему стволу.

Ночью нож занесу, но бессильно стою —
на меня, точно фары из гаража,
мчатся
яблоневые глаза!

Их 19.

*Они по три в ряд на стволе,
как ленточные окна.*

Они раздвигают кожу, как дупла.

Другие восемь узко растут из листьев.

*В них ненависть, боль, недоуменье —
что? что?*

что свершается под корой?

кожу жжет тебе известь? кружит тебя кровь?

*Дегтем, дегтем тебя мазать бы, а не известью,
дурочка древесная. Сунулась. Стояла бы себе как
соседки в белых передниках. Ишь...*

Так сидит старшеклассница меж подружек,
бледна,
чем полна большеглазо — не расскажет она.
Похудевшая тайна. Что же произошло?
Пахнут ночи миндально. Невозможно светло.

Или тигр-людоед так тоскует, багров.
Нас зовет к невозможнейшему любовь!
А бывает, проснешься — в тебе звездопад,
тополиные мысли и листья шумят.

*По генетике у меня четверка была.
Люди — это память наследственности.
В нас, как муравьи в банке,
напиханно шевелятся тысячелетия,
у меня в пятке щекочет Людовик XIV.
Но это?..*

*Чтобы память нервов мешалась
с хлорофиллами?*

Или это биочудо? Где живут дево-деревья?

Как женщины пахнут яблоком!..

...А 30-го стало ей невмоготу.

Ночью сбросила кожу, открыв наготу,
врыта в почву по пояс, смертельно орет
и зовет
удаляющийся
самолет.

1965



* * *

Можно и не быть поэтом,
но нельзя терпеть, пойми,
как кричит полоска света,
прищемленная дверьми!

1976





ПЕРЕДЕЛКИНСКИЙ КЛЮЧ

По гнущимся ступеням
к источнику, что снизу,
кто вывел автогеном
«Надежда» и «Лариса»?
Ах, женские ступени
и имя на плаву,
как в поминальном пенье
и в храме на полу.
Железа отсвет паюсный,
вечерний прогибается
под мною и тобой.
Ты туфли не из риска
снимаешь с каблуком —
чтоб ощутить Ларису,
ощупав босиком.
Плащ подвернув до «мини»,
нагнешься в темноте
и пальцем свое имя
напишешь на воде.

И озаренный инеем,
с твоей ладони пью
разбавленную именем
прощальную струю.





ПОВЕСТЬ

Он вышел в сад. Смеркался час.
Усадьба в сумраке белела,
смущая душу, словно часть
незагорелая у тела.

А за самим особняком
пристройка помнилась неясно.
Он двери отворил пинком.
Нашарил ключ и засмеялся.

За дверью матовой светло.
Тогда здесь спальня находилась.
Она отставила шитье
и ничему не удивилась.

1972





ОБУЧЕНИЕ ВИНОПИТИЮ

Напои меня вином —
темно-красною свободой,
напои меня собою,
в рот набрав «Сент-Эмильон».

Напои меня виной
холодяще, эротично.
Все другое — еретично.
Нови, нови нет в ином!

Все фужеры я давно
перебил тебе на счастье.
Обучу тебя причастью
пить взаимное вино.

Научу пить из горла
вкус малины и канцоны —
антирадиационно
Геба ты, а не герла.

«С Новым годом!» повторим.
Неужели, неужели
твои женские фужеры
не новее всех новин?!

Жизнь — короткие вакейшены.
Нам завещано одно —
пить из губ любимой женщины
монастырское вино!

Рукавами кимоно
утро сужено в окно.
Нови, нови нету, но
есть вино, вино, вино.

Только зеркало с торца
отражает невозможно
неразъятою восьмеркой
два дурацкие лица.

Новый год — какой наив!
Век какой? Не все ль равно...
Нет новин, новин, новин,
есть вино, вино, вино...



АВТОМАТ

Москвою кто-то бродит,
накрутит номер мой.
Послушает и бросит —
отбой...

Чего вам? Рифм кило?
Автографа в альбом?
Алло!..
Отбой...

Кого-то повело
в естественный отбор!
Алло!..
Отбой...

А может, ангел в кабеле,
пришедший за душой?
Мы некоммуникабельны.
Отбой...

А может, это совесть,
Потерянная мной?
И позабыла голос?
Отбой...

Стоишь в метро конечной
с открытой головой,
и в диске, как в колечке,
замерзнул пальчик твой.

А за окошком мелочью
стучит толпа отчаянная,
как очередь в примерочную
колечек обручальных.

Ты дунешь в трубку дальнюю,
и мой воротничок
от твоего дыхания
забьется, как флажок...

Порвалась связь планеты.
Аукать устаю.
Вопросы без ответов.
Ответы в пустоту.

Свело. Свело. Свело.
С тобой. С тобой. С тобой.
Алло. Алло. Алло.
Отбой. Отбой. Отбой.



БАЛЛАДА О МО

Словно гоголевский шнобель,
над страной летает Мобель.

Говорит пророк с оглобель:
«Это Мобель, Мобель, Мобель...
Черным дьяволом зачаты
одноухие зайчаты.
Я читал в одной из книг —
Мобель дик».

— А Мадонна из Зарядья
тройню черных родила.
«Дистанционное зачатье» —
утверждает. Ну, дела!
Ну Мобель, погоди...

Покупаю модный блейзер.
Восемь кнопочек на нем.
Нажму кнопку — кто-то трезвый
говорит во мне: *«Прием»*.

*Абонент не отвечает или временно
недоступен*

*звону злата. И мысли, и дела он
знает наперед...»*

Кто мой Мобель наберет?

Секс летит на нас отдельно,
Жизни смысл отстал от денег.
Мы — отвязанные люди,
без иллюзий.

Мобеля лауреаты
проникают Банку в код.
С толстым слоем шоколада
Марс краснеет и плывет.

Ты теперь дама с собачкой —
ляжет на спину с тоски,
чтоб потрогала ты пальчиком
в животе ее соски.

*Если разговариваешь более получаса, —
рискуешь получить удар самонаводящейся
ракетой.*

- *Опасайтесь связи сотовой.*
- *Особенно двухсотой.*
- *Налей без содовой.*

Даже в ванной — связи, связи,
запредельный разговор,

словно гул в китайской вазе,
что важнее, чем фарфор.

Гений Мобеля создал.
Мобель гения сожрал.
Он мозгов привносит рак.
Кто без мозгов — тот не дурак.

«МО», — сказал Екклезиаст.
Но звенят мои штаны:
«Капитализм — это несоветская власть
плюс мобелизация всей страны».

Черный мебель, черный мебель
над моею головой,
нового сознания модуль,
черный мебель, я не твой!

— Не сдадим Москву французу!
— В наших грязях вязнет «Опель».
Как повязочка Кутузова,
в небесах летает мебель
МОБЕЛЬМОБЕЛЬМОБЕЛЬМОБЕЛЬМО...

Слепы мы.
Слепо время само.

Был бы у Татьяны мебель,
то Онегину бы, кобелю,
не писала бы письмо.



ПЛАТИТЕ ЖЕНЩИНЕ

Женщине надо платить —
жизнью, а лучше наличными.
Как утверждают античные
Плóтин и Плотин.

Все оставляет блондин
золото на подушке,
гений забился в падучей —
женщине надо платить.

Деньги суммируют секс.
В женщину, словно в копилку,
суть свою юноша пылкий
вкладывает, и Ксеркс.

Женщине надо плодить
тайны и войны всамделишные,
грезы налогоплательщиков
в куртках на голое тело,
и тех, кто платить супротив.

Женщиной надо балдеть.
Пусть обвинят в пораженщине.
Платите женщине!
(Шкурой, когда вы медведь.)

Чем я тебе заплачу
за твое чудо бесценное,
за поцелуи, за сцену
перед поездкой к врачу?

Как мы играли с тобой!
За щеку сунув динару...
И из тебя — из Данаи —
сыпался дождь золотой.

Как ты неординарна!

«Я — однорукий бандит!..»
Отхохочись до упаду,
став игровым автоматом.
Надо платить.

За этот аперитив
будешь, родная, расплачиваться
дном, унижениями, прачечными,
за все мужские палачества
женщине надо платить.



ИГРОВАЯ

Вызвала под утро за ворота
рыжая, пустая как камыш.
И твердишь лицом бесповоротным:
«Я сама себе отвратней рвоты.
Неужели ты меня простишь?!

Помнишь, ты крутил: «грядеши камо?»
«Камо-амок» выплыло со дна.
Я давно играю. Это амок.
Неужели ты простишь меня?»

Амок, всенародный и кровавый,
мчится, самых лучших закрутя...
«Игровая вышла, игровая», —
говорят таксисты про тебя.

Молодая пиковая дама,
кто ж маркиз твой? Урка из Мытищ?
Воет амок — вековая яма:
«Неужели ты меня простишь?»

Ночью выпал иней. Вроде хрома.
Но на босу ногу ты была,
как позавчера ушла из дома,
амоком ведомая ушла.

Жалко не прикида, не квартиры,
жаль тебя, а не зеленых тыщ.

За тобой следили рэкетеры.
«Я должна кавказцам, — ты твердила. —
Неужели ты меня простишь?»

«Сколько?» — говорю, играя хама.
Я устал от твоего вранья.
Но ужалил непонятный амок:
«Неужели ты простишь меня?»

Это круче дозы тегеранской,
крутит, состав крови изменяя.
Отыгаться надо, отыгаться —
Неужели не простишь меня?

Женщины — все игровые,
ставят свою юность и престиж,
русские наследницы графини.
Неужели ты меня простишь?

Амок шел за мной на Мицубиси.
За балкон шагнула с этажа
пятого. Сочли самоубийством.
Извини, конечно, но жива.

Возвращаясь утром на цистерне,
на пределе хрупкого ума
я пыталась распознать Систему.
Но она безумная сама.

Милая, они же профи!
Но крупье отпаивали зал,
когда твой молниеносный профиль
амок изумрудно озарял.

И страданья свет смущенно таял,
проступая через никотин.
Ведь сияние бывает тайным.
Или же бывает никаким.

Тачка ждет. Пора кончать свиданье.
Боже, излечи ее, спаси!
Смотрит сострадание страданья
в заднее окошечко такси.

Иней на деревьях — битой гжелью.
Но дорога вся темна.
Уезжает ею: «Неужели
ты простил меня?»

Господи! Камо грядеши?!
На душе тяжелый камень лишь.
Как мне жить, твой амок разглядевши?
Неужели ты меня простишь?





А ТЫ МЕНЯ ПОМНИШЬ?

Ты мне прозвонилась сквозь страшную полночь:

«А ты меня помнишь?»

Ну как позабыть тебя, ангел-звереныш?

«А ты меня помнишь?» —

твой голос настаивал, стонул и тонул —

А ты меня помнишь? а ты меня помнишь?

И ухало это во тьме телефониц —

рыдало по-русски, in English, in Polish —

you promise? astonish, а ты меня помнишь?

А ты меня помнишь, дорога до Бронниц?

И нос твой, напудренный утренним пончиком?

В ночном самолете отстегнуты помочи —

вы, кресла, нас помните?

Понять, обмануться, окликнуть по имени:

А ты меня...

Помнишь? Как скорая помощь,

в беспмятном веке запомни одно лишь —

«А ты меня помнишь?»



БЬЮТ ЖЕНЩИНУ

Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
срывает ручку, как рубильник,
выбрасываясь
на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали, тормоша.
И волочили и лупили
лицом по лугу и крапиве...

Подонок, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие ребра
ботинок узкий, как уют.

О, упоенье оккупанта,
изыски деревенщины...
У поворота на Купавну
бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,
бьют юность, бьет торжественно
набата свадебного гуд,
бьют женщину.

А от жаровен на щеках
горящие затрешины?
Мещанство, быт — да еще как! —
бьют женщину.

Но чист ее высокий свет,
отважный и божественный,
Религий — нет, знамений — нет.
Есть
Женщина!..

...Она как озеро лежала,
стояли очи как вода,
и не ему принадлежала
как просека или звезда,
и звезды по небу стучали,
как дождь о черное стекло,
и, скатываясь,
остужали
ее горячее чело.

1960



ОСЕНЬ

С. Щипачеву

Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных
последних паутинок блеск,
последних спиц велосипедных.

И ты примеру их последуй,
стучись проститься в дом последний.
В том доме женщина живет
и мужа к ужину не ждет.

Она откинет мне щеколду,
к тужурке припадет щекою,
она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, все поймет —
поймет осенний зов полей,
полет семян, распад семей...

Озябшая и молодая,
она подумает о том,
что яблонька и та — с плодами,
буренушка и та — с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
в полях, в домах, в лесах продутых,
им — колоситься, токовать.
Ей — голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:
«Зачем мне руки, груди, плечи?
К чему мне жить и печь топить
и на работу выходить?»

Ее я за плечи возьму —
я сам не знаю, что к чему...

А за окошком в юном инее
лежат поля из алюминия.
По ним — черны, по ним — седы,
до железнодорожной линии
протянутся мои следы.

1959





ПЕРВЫЙ ЛЕД

Мерзнет девочка в автомате,
прячет в зябкое пальцецо
все в слезах и губной помаде
перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы — льдышки. В ушах — сережки.

Ей обратно одной, одной
вдоль по улочке ледяной.

Певый лед. Это в первый раз.
Первый лед телефонных фраз.

Мерзлый след на щеках блестит —
первый лед от людских обид.

Поскользнешься. Ведь в первый раз.
Бьет по радио поздний час.

Эх, раз,
еще раз,
еще много, много раз.



* * *

Сидишь беременная, бледная.
Как ты переменилась, бедная.

Сидишь, одергиваешь платице,
и плачется тебе, и плачется...

За что нас только бабы балуют
и губы, падая, дают,

и выбегают за шлагбаумы,
и от вагонов отстают?

Как ты бежала за вагонами,
глядела в полосы оконные...

Стучат почтовые, курьерские,
хабаровские, люберецкие...

И от Москвы до Ашхабада,
остолбенев до немоты,

стоят как каменные бабы,
луне подставив животы.

И, поворачиваясь к свету,
в ночном быту необжитом —

как понимает их планета
своим огромным животом.

1957





* * *

В человеческом организме
девяносто процентов воды,
как, наверное, в Паганини
девяносто процентов любви!

Даже если — как исключение —
вас растаптывает толпа,
в человеческом
назначении
девяносто процентов добра.

Дева́носто процентов музыки,
даже если она беда,
так во мне,
несмотря на мусор,
девяносто процентов тебя.

1972



НЕ ПИШЕТСЯ

Я — в кризисе. Душа нема.
«Ни дня без строчки», — друг мой дрочит.
А у меня —
ни дней, ни строчек.

Поля мои лежат в глуши,
Погашены мои заводы.
И безработица души
зияет страшною зевотой.

И мой критический истец
в статье напишет, что, окрысьсь,
в бескризиснейшей из систем
один переживаю кризис.

Мой друг, мой северный,
мой неподкупный друг,
хорош костюм, да не по росту,
внутри все ясно и вокруг —
но не поется.

Я деградирую в любви.
Дружу с оторвою трактирною.
Не деградируете вы —
я деградирую.

Был крепок стих, как рафинад.
Свистал хоккейным бомбардиром.
Я разучился рифмовать.
Не получается.

Чужая птица издали
простонет перелетным горем.
Умеют хором журавли.
Но лебедь не умеет хором.

О чем, мой серый, на ветру
ты плачешь белому Владимиру?
Я этих нот не подберу.
Я деградирую.

Семь поэтических томов
в стране выходит ежесуточно.
А я друзей и городов
бегу, как бешеная сука,

в похолодавшие леса
и онемевшие рассветы,
где деградирует весна
на тайном переломе к лету...

Но верю я, моя родня —
две тысячи семьсот семнадцать
поэтов нашей федерации —
стихи напишут за меня.

Они не знают деградации.

1967





* * *

Приди! Чтоб снова снег слепил,
чтобы желтела на опушке,
как александровский амбир,
твоя дубленочка с опушкой.

1972





ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ

Ты кричишь, что я твой изувер,
и, от ненависти хорошея,
изгибаешь, как дерзкая зверь,
голубой позвоночник и шею.

Недостойную фразу твою
не стерплю, побледнею от вздору.
Но тебя я боготворю.
И тебе стать другой не позволю.

Эй, послушай! Покуда я жив,
жив покуда,
будет люд тебе в храмах служить,
на тебя молясь, на паскуду.

1973





ЯБЛОКОПАД

Я посетил художника после кончины
вместе с попутной местной чертовкой.
Комнаты были пустынные, как рамы,
что без картины.

Но из одной доносился Чайковский.

Припоминая пустые залы,
с гостьей высокой в афроприческе
шел я, как с черным воздушным шаром.
Из-под дверей приближался Чайковский.

Женщина в кресле сидела за дверью,
40 портретов ее окружали.
Мысль, что предшествовала творенью,
сделала знак, чтобы мы не мешали.

Как напряженна работа натурщицы!
Мольберты трудились над ней на треногах.

Я узнавал в их все новых конструкциях
характер мятущийся и одинокий —

то гвоздь, то три глаза, то штык трофейный,
как он любил ее в это время!
Не находила удовлетворенья
мысль, что предшествовала творенью.

Над батареею отопленья
крутился Чайковский, трактуемый Геной
Рождественским. Шар умолял его в небо
выпустить. В небе гроза набрякла.
Туча пахла, как мешок с яблоками.

Это уже ощущалось всеми:
будто проветривали помещенье —
мысль, что предшествовала творенью,
страсть, что предшествовала творенью,
тоска, предшествующая творенью,
шатала строения и деревья!

Мысль в виде женщины в кресле сидела.
Была улыбка — не было тела.
Мысль о собаке лизала колени.
Мысль о стремянке, волнуя, белела —
в ней перекладина, что отсутствовала,
мыслью о ребре присутствовала.

Съезжалось общество потребления.
Мысль о яблоке катилась с тарелки.
Мысль о тебе стояла на тумбочке.
«Как он любил ее!» — я подумал.
«Да», — ответила из передней
недоуменная тьма творенья.

Вот предыстория их отношений.
Вышла студенткой. Лет было мало.
Гения возраст — в том, что он гений.
Верила, стало быть, понимала.
Как он ревнует ее, отошедши!
Попробуйте душ принять в его ванной —
душ принимает его очертанья.
Роман их длится не для посторонних.

Переворачивался двусторонний
Чайковский. В мелодии были стоны
антоновских яблонь. Как мысль о Создателе,
осень стояла. Дом конопатили.
Шар об известку терся щекою.
Мысль обо мне заводила Чайковского,
по старой памяти, над парниками.
Он ставил его в шестьдесят четвертом.
Гости в это не проникали.

«Все оправдалось, метр полуголый,
что вы сулили мне в стенах шершавых

гневным затмением лысого шара,
локтями черными треугольников».

Море сомнительное манило.
Сохла сомнительная малина.
Только одно не имело сомненья —
мысль о бессмысленности творенья.
Цвела на террасе мысль о терновнике.
Благодарю вас, метр модерновый!

Что же есть я? Оговорка мысли?
Грифель, который тряпкою смыли?
Я не просил, чтоб меня творили!
Но заглушал мою говорильню
смысл совершаемого творенья —
ссылка на Бога была б трафаретной —
Материя. Сад. Чайковский, наверное.

Яблоки падали. Плакали лабухи.
Яблок было — греби лопатой!
Я на коленях брал эти яблоки
яблокопада, яблокопада.

Я сбросил рубаху. По голым лопаткам
дубасили, как кулаки прохладные.
Я хохотал под яблокопадом.
Не было яблонь — яблоки падали.

Связал рукавами рубаху казнимую.
Набил плодами ее, как корзину.
Была тяжела, шевелилась, пахла.
Я ахнул —
сидела женщина в мужской рубахе.

Тебя я создал из падших яблок,
из праха — великую, беспризорную!
Под правым белком, косящим набок,
прилипла родинка темным зернышком.
Был я соавтором сотворенья.
Из снежных яблок там во дворе мы
бабу слепляем. Так на коленях
любимых лепим. Хозяйке дома
тебя представил я гостьей якобы.
Ты всем гостям раздавала яблоки.
И изъяснялась по-черноземному.

Откуда знать тебе, улыбавшейся,
в рубашке, словно в коротком платьице,
что, забывшись, влюбившись, сбросишь
рубашку
и как шары по земле раскатишься!..

Над автобусной остановкой
туча пахла, как мешок с антоновкой.
Шар улетел. В мире было ветрено.
Прощай, нечаянное творенье!

Вы ночевали ли в даче создателя,
на одиночестве колких дерюжиц?
И проносилось в вашем сознании:
«Благодарю за то, что даруешь»?

Благодарю тебя, автор творенья,
что я случился частью твоею,
моря и суши, сада в Тарусе,
благодарю за то, что даруешь,
что я не прожил мышкой-норушкой,
что не двурушничал с тобой, время,
даже когда ты мне даришь кукиш,
и за удары остервенелые,
даже за то, что дошли до ручки,
даже за то стихотворенье,
даже за то, что завтра задуешь, —
благодарю тебя, что даруешь
краткими яблоками коленей!
За гениальность твоих натурщиц,
за безымянность твоей идеи...
И повторяли уже в сновиденье:
«Боготворю за то, что даруешь».

В мир открывались ворота ночные.
Вы уезжали. Собаки выли.
Не посещайте художника после кончины,
а навещайте, пока вы живы.

1981



РОЩА

Не трожь человека, деревце,
костра в нем не разводи.
И так в нем такое делается —
боже, не приведи!

Не бей человека, птица,
еще не открыт отстрел.
Круги твои —
ниже,
тише.
Неведомое — острей.

Неопытен друг двуногий.
Вы, белка и колонок,
снимите силки с дороги,
чтоб душу не наколол.

Не браконьерствуй, прошлое.
Он в этом не виноват.
Не надо, вольная рощица,
к домам его ревновать.

Такая стоишь тенистая,
с начесами до бровей —
травили его, освистывали,
ты-то хоть не убей!

Отдай ему в воскресенье
все ягоды и грибы,
пожалуй ему спасение,
спасением погуби.

1968



Их витражей голубые зазубрины —
с чисто готической тягою вверх.
Поле любимо, но небо возлюблено.
Небом единым жив человек.

В небе коровы парят и ундины.
Зонтик раскройте, идя на проспект.
Родины разны, но небо едино.
Небом единым жив человек.

Как занесло васильковое семя
на Елисейские, на поля?
Как заплетали венок Вы на темя
Гранд Опера, Гранд Опера!

В век ширпотреба нет его, неба.
Доля художников хуже калек.
Давать им сребреники нелепо —
небом единым жив человек.

Кто целовал твое поле, Россия,
пока не выступят васильки?
Твои сорняки всемирно красивы,
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!
По полю дрожь.
Поле пришпорено васильками,
как ни уходишь — все не уйдешь...

Выйдешь ли вечером — будто захварываешь,
во поле углические зрачки.
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
все васильки, все васильки...

Не Иегова, не Иисусе,
ах, Марк Захарович, нарисуйте
непобедимо синий завет —
Небом Единым Жив Человек.

1973





МУРАВЕЙ

Он приплыл со мной с того берега,
заблудившись в лодке моей.
Не берут его в муравейники.
С того берега муравей.

Черный он, и яички беленькие,
даже, может быть, побелей...
Только он муравей с того берега,
с того берега муравей.

С того берега он, наверное,
как католикам старовер,
где иголки таскать повелено
остриями не вниз, а вверх.

Я б отвез тебя, черта беглого,
да в толпе не понять — кто чей.
Я и сам не имею пеленга
того берега, муравей.

Того берега, где со спелинкой
земляниковые бока...

Даже я не имею пеленга,
чтобы сдвинулись берега!

Через месяц по щепке, как Беринг,
доплывет он к семье своей,
но ответят ему с того берега:
«С того берега муравей».

1973





Н.У. — РЕСТОРАН

Моей жизни часть эмигрировала.
Здесь живет. Пустила корня.
С интересом сейчас игривым
рассматривает меня.

Ты алмазно сияешь — краешком
глаза, носа — как в нашу рань.
Но сейчас ты — граненый камушек.
Как далась тебе эта грань!

Расшибалась всмятку, в восьмерки.
Пропасть пробовала на боках.
Держишь русский кабаk в Нью-Йорке
на отчаянных каблучках.

В этой темной шикарной яме
я узнаю — тебя потом —
неполоманное твое сиянье,
словно малый алмазный фонд.

Узнаю, что никто не знает,
что таю, от себя храня.
Вышибала, тобою нанят,
усмехается на меня.

Якиманкой бежала шибко,
в мировой провал сорвалась.
И сияешь. И не расшиблась.
Доказала, что ты алмаз.





БЕЛОВЕЖСКАЯ БАЛЛАДА

Я беру тебя на поруки
перед силами жизни и зла,
перед алчущим оком разлуки,
что уставилась из угла.

Я беру тебя на поруки
из неволи московской тщеты.
Ты — как роща после порубки,
ты мне крикнула: защити!

Отвернутся друзья и подруги.
Чтобы вспыхнуло все голубым,
беловежскою рюмкой сивухи
головешки в печи угостим.

Затопите печаль в моем доме!
Поет прошлое в кирпичах.
Все гори синим пламенем, кроме —
запалите печаль!

В этих пылких поспешных поленьях,
в слове, вырвавшемся, хрипя,
ощущение преступления,
как сказали бы раньше, — греха.

Воли мне не хватало, воли.
Грех, что мы крепостны на треть.
Столько прошлых дров накололи —
хорошо им в печали гореть!

Это пахнет уже не романом,
так бывает пожар и дождь —
на ночь смывши глаза и румяна,
побледневшая, подойдешь.

А в квартире, забытой тобою,
к прежней жизни твоей подключен,
белым черепом со змеею
будет тщетно шуршать телефон...

В этой егерской баньке бревенчатой,
точно сельские алтари,
мы такую свободой повенчаны —
у тебя есть цыгане в крови.

Я беру тебя на поруки
перед городом и людьми.
Перед ангелом воли и муки
ты меня на поруки возьми.

1975



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ

Уважьте пальцы пирогом,
в солонку курицу макая,
но умоляю об одном —
не трожьте музыку руками!

Нашарьте огурец со дна
и стан справасидящей дамы,
даже под током провода —
но музыку нельзя руками.

Она с душою наравне.
Берите трешницы с рублями,
но даже вымытыми не
хватайте музыку руками.

И прогрессист, и супостат,
мы материалисты с вами,
но музыка — иной субстант,
где не губами, а устами...

Руками ешьте даже суп,
но с музыкой — беда такая!
Чтоб вам не оторвало рук,
не трожьте музыку руками.

1971





* * *

Я — двоюродная жена.
У тебя — жена родная!
Я сейчас тебе нужна.
Я тебя не осуждаю.

У тебя и сын, и сад.
Ты, обняв меня за шею,
поглядишь на циферблат —
даже крикнуть не посмею.

Поезжай ради Христа,
где вы снятые в обнимку.
Двоюродная сестра,
застели ему простынку!

Я от жалости забьюсь.
Я куплю билет на поезд.
В фотографию вопьюсь.
И запрячу бритву в пояс.

1971



БЬЕТ ЖЕНЩИНА

В чьем ресторане, в чьей стране —
не вспомнишь,
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,
и женщина разгневанная — бьет!

Быть может, ей не подошла компания,
где взгляды липнут, словно листья банные?
За что — неважно. Значит, им положено —
пошла по рожам, как белье полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.

Бей, женщина!

Массируй им мордасы!

За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всем передовая,
что на земле давно матриархат —
отбить,
обуть, быть умной,

хохотать —
такая мука — непередаваемо!

Влепи ему в паяло солоницу.
Мужчины, рыцари,
куда ж девались вы?!
Так хочется к кому-то прислониться —
увы...

Бей, реваншистка! Жизнь — как белый танец.
Не он, а ты его, отбивши, тянешь,
Пол-литра купишь.
Как он скучен, хрыч!
Намучишься, пока расшевелишь.

Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!
А можно ли
в капронах
ждать в морозы?
Самой восьмого покупать мимозы —
можно?!

Виновные, валитесь на колени,
колонны, люди, лунные аллеи,
вы без нее давно бы околели!
Смотрите, из-под грязного стола —
она, шатаясь, к зеркалу пошла.

«Ах, зеркало, прохладное стекло,
шепчу в тебя бессвязными словами,
сама к себе губами
прислоняюсь
и по тебе
сползаю
тяжело,

и думаю: трусишки, нету сил —
меня бы кто хотя бы отлупил!..»

1964





* * *

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке —
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бесейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасеньи —
с ума бы не сойти!

А за оградой монастырской,
как спирт ударит нашатырный,
последрозовые сады —
с ума бы не сойти!

Когда отчетливо и грубо
стрекозы посреди полей
стоят, как черные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне это, человеку!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Господь, — скажу, — или Россия,
назад не отпусти!»

1970





ПРЕОБРАЖЕНИЕ

«Сестрица моя в женском вытрезвителе!
Обидели...»

Как при водолюбце Владимире Крестителе,
бабья революция воеет в вытрезвителе.
Что там пририсовано на стене «Трем витязям»?
Полная свобода в вытрезвителе.

«Дома норму выдайте,
на работе выдайте,
только в вытрезвителе свобода от бытия...
Муж придет, как выдоен.
Я не меньше выдую.
Станем себе сами братья и мужья».

«Я тебя, сестричка, полюбила в хмеле.
Мы с тобой прозрели в ледяной купели.
Давай жить нарядно, словно две наяды,
купим нам фиалки,
поступим в институт.
Фабричные фискалки от зависти помрут».

«Русь, куда несешься ты, дай ответ?»
«Я рванула сослепу на красный свет».
«Бабоньки, завязываю! Слушайте таксистку.
Этак жить — тощица. На смех гаражу!

Чтобы в рот взяла я?
эту дрянь?

Спасибо.
Я хочу быть женщиной.
Мальчика рожу».

И сразу стало слышно каждое дыхание.
В белой палате — такая тишина!

Ведь в каждой спит мадонна,
светла и осиянна,
словно тронул души кистью Тициан.

Завтра они выйдут на Преображенскую.
И у каждой будет Чудо на руках.
Будет, будет мальчик.
Будет счастье женское.
Даже если будет все не так.

1973





СВЕТ ДРУГА

Я друга жду. Ворота отворил,
зажег фонарь над скосами перил.

Я друга жду. Глухие времена.
Жизнь ожиданием озарена.

Он жмет по окружной, как на пожар,
как я в его невзгоды приезжал.

Приедет. Над сараями сосна
заранее озарена.

Бежит, фосфоресцируя, кобель.
Ты друг? Но у тебя — своих скорбей...

Чужие фары сгрудят темноту —
я друга жду.

Сказал — приедет после девяти.
По всей округе смотрят детектив.

Зайдет вражда. Я выгоню вражду —
я друга жду.

Проходят годы — Германа все нет.
Из всей природы вырубают свет.

Увидимся в раю или в аду.
Я друга жду, всю жизнь я друга жду!

Сказал — приедет после девяти.
Судьба, обереги его в пути.

1979





ВАЛЬС ПРИ СВЕЧАХ

Любите при свечах,
танцуйте до гудка,
живите — при сейчас,
любите — при когда?

Ребята — при часах,
девчата — при серьгах,
живите — при сейчас,
любите — при Всегда,

прически — на плечах,
щека у свитерка,
начните — при сейчас,
очнитесь — при всегда.

Цари? Ищи-свищи!
Дворцы сминаемы.
А плечи все свежи
и несменяемы.

Когда? При царстве чьем?
Не ерунда важна,
а важно, что пришел.
Что ты в глазах влажна.





* * *

Мордеем, друг. Подруги молодеют.
Не горячитесь.
Опробуйте своей моделью,
как «анти» превращается в античность.





* * *

Зое

Живу в сторожке одинокой,
один-один на всем свету.
Еще был кот членистоногий,
переползающий тропу.

Он, в плечи втягивая жутко
башку, как в черную трубу,
вещал, достигнувши желудка,
мою пропащую судьбу.

А кошка — интеллектом уже,
Знай, штамповала деток в свет,
углами загибала ушки
им, как укладчица конфет.

1969





* * *

Я — вселенский полудурок.
Бит Никиткой и тоской!
Вознесенский — переулок
меж Никитской и Тверской.

Невезенья квинтэссенция,
он не трасса, а тропа.
Здесь на Пасху Вознесенская
просияла Скорлупа.

Здесь подруги и собратья,
власть в малиновом доме.
Мы к Чайковскому в объятья
попадаем по нему.

И красавица из местных,
не святоша и не блядь,
в Вознесенской лавке крестик
сладко будет примерять.

С тьмой литературных
разберусь я вдругорядь.
Вознесенский переулочек
не переименовать.





* * *

Еще немного дай побыть мне так.
В окно запах глухонемой табак.

От рамы тень бретелькой на плечо.
Мне так побыть немного дай еще.

Дай мне немного так еще побыть,
не убегай умыться и попить.

Как, боже, твой благословенен край!
Еще немного так побыть мне дай.





* * *

Слоняюсь под Новосибирском,
где на дорожке к пустырю
прижата камушком записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

Сентиментальность озорницы,
над вами прыснувшей в углу?
Иль просто надо объясниться?
«Прохожий, я тебя люблю!»

Записка, я тебя люблю!
Опушка — я тебя люблю!
Зверюга — я тебя люблю!
Разлука — я тебя люблю!

Детсад — как семь шаров воздушных,
на шейках-ниточках держась.
Куда вас унесет и сдует?
Не знаю, но страшусь за вас.

Как сердце жмет, когда над осенью,
хоть никогда не быть мне с ней,
уносит лодкой восьмивесельной
в затылок ниточку гусей!

Прощающим благодареньем
пройдет деревня на плаву.
Что мне плакучая деревня?
Деревня, я тебя люблю!

И как ремень с латунной пряжкой
на бражном, как античный бог,
на нежном мерине дремавшем
присох осиновый листок.

Коняга, я тебя люблю!
Мне конюх молвит мирозданьем:
«Поэт? Люблю. Пойдем — раздавим...»
Он сам, как осень, во хмелю.

Над пнем склонилась паутина,
в хрустальном зеркале храня
тончайшим срезом волосиным
все годовые кольца пня.

Будь с встречным чудом осторожней...
Я встречным «здравствуй» говорю.
Несешь мне гибель, почтальонша?
Проходящая, тебя люблю!

Прохожая моя планета!
За сумасшедшие пути,
проколотые, как билеты,
поэты с дырочкой в груди.

И как цена боев и риска,
чем, ярлычок на клею,
к Земле приклеена записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

1967





РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ

Мимо санатория
реют мотороллеры.

За рулем влюбленные —
как ангелы рублевские.

Фреской Благовещенья,
резкой белизной
за ними блещут женщины,
как крылья за спиной!

Их одежда плещет,
рвется от руля,
вонзайтесь в мои плечи,
белые крыла.

Улечу ли?
Кану ль?
Соколом ли?
Камнем?

Осень. Небеса.
Красные леса.

1961



ДВЕ ПЕСНИ

1

ОН

Возвращусь в твой сад запущенный,
где ты в жизнь меня ввела,
в волоса твои распущенные
шептал первые слова.

Та же Ялта полутемная.
Дочь твоя, белым-бела,
мне в лицо мое смятенное
шепчет первые слова.

А потом лицом в коленки
белокурые свои
наматает, как колечки,
вокруг пальчиков ступни.

Так когда-то ты наматывала
свои царские до пят
в кольца черные, агатовые
и гадала на агат!

И печальница другая
усмехается, как мать:
«Ведь венчаются ногами.
Надо б ноги обручать».

В этом золоте и черни
есть смущенные черты,
мятнѳый свет звезды дочерней,
счастьѳ с привкусом бѳды.

Оправдались суевѳрия.
По бокам моим встает
горестная артиллерия —
ангел чернѳый, ангел белая —
перелет и недолет!

Белокуроый недолеток,
через годы темноты
вместо школьного, далекого,
говорю святое «ты».

Да какие там экзамены,
если в блѳдности твоей
проступают стоны мамины
рядом с ненавистью к ней.

Разлучая и сплетая,
перепутались вконец
черная и золотая —
две цепочки из колец.

Я б сказал, что ты, как арфа,
чешешь волосы до пят.
Но важней твое «до завтра».
До завтра б досуществовать!

2

ОНА

Волосы до полу, черная масть — мать.
Дождь белокурый, застенчивый в дрожь — дочь.

«Гость к нам стучится, оставь меня с ним на
всю ночь,
дочь».

«В этой же просьбе хотела я вас умолять,
мать».

«Я — его первая женщина, вернулся до ласки охоч,
дочь».

«Он — мой первый мужчина, вчера я боялась
сказать,
мать».

«Доченька... Сволочь!.. Мне больше не дочь,
прочь!..»

.....

«Это о смерти его телеграмма,
мама!..

1971



СПАСИТЕ ЧЕРЕМУХУ

Спасите черемуху! Как в целлофаны,
деревья замотаны исчервленые.
Вы в них целовались. Летят циферблаты.
Спасите черемуху!

Вы, гонщики жизни в «Чероки» красивом,
ты, панк со щеками, как чашка Чехонина...
Мы без черемухи — не Россия.
Спасите черемуху.

Зачем красоту пожирают никчемные?!
К чему, некоммерческая черемуха,
ты запахом рома дышала нам в щеки,
как тыщи волшебных капроновых щеточек!

Ее, как заразу, как класс, вырубают
под смех зачумленный.
Я из солидарности в белой рубахе
сутуло живу, как над речкой черемуха.

Леса без черемухи — склад древесины.
Черемухи хочется! Так клавесину
Чайковского хочется! К вечеру сильно
и вкладчице «Чары», и телке в косынке,
несчастливым в отсидке, и просто России,
опаутиненной до Охотского,
черемухи хотца, черемухи хотца,
вместо газа одноименного
черемухи хочется. Сдохла черемуха.

Приду, обниму тебя за оградой,
но сердце прилипнет к сетям шелкопряда.
Шевелятся черви в душе очарованной...
Спасите черемуху!

Придет без черемухи век очередной...
Тебя мы сожрали, чмуры и чмуренихи.
Лесную молитву спасите черемуху!
Спасите черемухой.





* * *

Ну что тебе надо еще от меня?
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Я музыка горя, ты музыка лада,
ты яблоко ада, да не про меня!

На всех континентах твои имена
прославил. Такие отгрохал лампы!
Ты музыка счастья, я нота разлада.
Ну что тебе надо еще от меня?

Смеялась: «Ты агнел?» — я лгал, как змея.
Сказала: «Будь смел» — не вылезил из спален.
Сказала: «Будь первым» — я стал гениален,
ну что тебе надо еще от меня?

Исчерпана плата до смертного дня.
Последний горит под твоим снегопадом.
Был музыкой чуда, стал музыкой яда,
ну что тебе надо еще от меня?

Но и под лопатой спую, не виня:
«Пусть я удобренье для божьего сада,
ты — музыка чуда, но больше не надо!
Ты случай досады. Играй без меня».

И вздрогнули складни, как створки окна.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.
Ну что тебе надо еще от меня?»

1971





АРЕНДА

Рухнул мир Левиафана.
Мой последний закидон —
арендую у Литфонда
желтый дом.

Соскребаю всю валюту
и влагаю в развалюху.
Крою крышу, стены строю
на песке.
В страшный год — сажу левкой.
Строю собственность Литфонду —
не себе.

Снится штукатуру Насте —
НАСТЕНАТЕНА С Т Е Н А.
«Плитка — плиткaплиткaплиткaплиткa...
«Капли-ит», — говорит она.

Все в разрухе — из афронта
строй, дурак!
Друг из Бруклина шлет фото,

мол, гуд лак!..
Мой адрес — мрак.

За заборчиком лимонным
растит репу и бурак
запредельный член Литфонда
Пастернак.





ЗОМБИ ЗАБВЕНЬЯ

Я проснулся от взгляда. Это было у Лобни.
За окошком стояла зомби.

И какая-то потусторонняя сила
внутри форточку отворила.

Моя зомби забвенья, ты стояла в ознобе,
по колено в прощенье,
по колено в сугробе,
потеряв одну туфлю,
сжав другую, как бомбу, —
моя зомби, программу забывшая зомби!

Забинтованный палец с проступившей зеленкой
теребил кончик елочки,
как приспущенный зонтик.

Взгляд ее был отдельным.
Он стоял с нею рядом,
заползал в сновиденье.

Мы летели с тобой по Тамбовам и Обнинским,
зомби оба,
и ночами во сне ты кричала не маму:
«Я забыла программу, я забыла программу!..»
И внизу повторяла городов панорама:
«Я забыла программу, я забыла программу...»

И несущая нас непонятная сила
повторяла:

«Забыла, я что-то забыла...» —

по дорогам земным и небесным дорогам —
мы забыли программу, внушенную Богом.

Смилуйся, распрограммируйся, зомби!
Смилуйся, распрограммируйся, поле!
Распрограммируйся, серое солнце,
в мир, что задумывался любовью.

Распрограммируйся, туфля-подснежник!
Смилуйся, распрограммируйся, поезд!
Жизнью обертывается позднее
эта и мне непонятная повесть.

Амба. Меня ты назавтра убила.
Но не о том я молю с горизонта:
это тебя не освободило?
Милая! Распрограммируйся, зомби!



КУМИР

Великий хоккеист работает могильщиком.
Ах, водка-матушка,
ищи меня на дне...
Когда он в телевизорах
магичествовал,
убийства прекращались по стране.

Он был капризный принц
Олимпа и Сабены,
а после тридцати
он так застрессовал
наедине с забвеньем —
не дай вам бог перенести!

Он понял что-то
выше травм и грамот.
Над ямой он обтер
бутылку и батон.
Познал бы истину,
когда б работал Гамлет
сначала Йориком, могильщиком — потом.

«Ляжем — сравниемся», —
он говорил девчатам.
«Ляжем — сравниемся», —
он оборвет меня.

Не в голубой конек —
в глубинную лопату
врезается ступня.

Ляжем — сравниемся —
кумиры и селяне,
ляжем — сравниемся —
народы и леса,
в великой темноте в неназванном сиянье
ляжем — сравниемся.

Там побежденному стал победитель равен,
там, бывшие людьми,
безмолвные глядят —
взгляд клена, взгляд звезды и придорожный
камень.

Потом и камня нет.
Остался только взгляд.

Он погружается, дымя сигаркой в вечность.
Кто не сшибал верхов, тот не познал глубин.
Он погружается
по пояс, грудь, по плечи.
Прямоугольный мрак.
Живой дымок над ним.

Сограждане!
Над ним не надо зубоскалить.
Рублевые цветы воруют с похорон,
надежда падшая
за вас подымет шкалик —
наш падший чемпион.

1975





Нам, как аппендицит,
поудалили стыд.

Бесстыдство — наш удел.
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!

Сквозь толщи наших щек
не просочится свет.
Но по ночам — как шов,
заноеет — спасу нет!

Я думаю, что Бог
в замену глаз и уш
нам дал мембрану щек,
как осязанье душ.

Горит моя беда,
два органа стыда —
не только для бритья,
не только для битья.

Спускаюсь в чей-то быт,
смутясь, гляжу кругом —
мне гладит щеки стыд
с изнанки утюгом.

Как стыдно, мы молчим.
Как минимум — схохмим.
Мне стыдно писанин,
написанных самим.

Интеллигенция!
Как ты изолгалась,
читаешь Герцена,
для порки заголясь.

Далекий ангел мой,
стыжусь твоей любви
авиазаказной...

Мне стыдно за твои

соленые, что льешь.
Но тыщи раз стыдней,
что не отыщешь слез
на дне души моей.

Смешон мужчина мне
с напухшей тучей глаз.
Постыднее вдвойне,
что это в первый раз.

И черный ручеек
бежит на телефон

за все, за все, что он
имел и не берег.

За все, за все, за все,
что было и ушло,
что сбудется ужо,
и все еще — не все...

В больнице режиссер
чернеет с простыней.
Ладони распростер.
Но тыщи раз стыдней,

что нам глядит в глаза,
как бы чужие мы,
стыдливая краса
хрустальнейшей страны —

застенчивый укор
застенчивых лугов,
застенчивая дрожь
застенчивейших рощ...

1967





**НОТЫ
МЕЛАНХОЛИИ**

XX







НОВОРУССКАЯ РУЛЕТКА

Розы ужасом примяты.
На морозе речь охрипла.
Игровые автоматы
Озверевшего калибра
На канале Грибоедова
Сбили женщину навывлет...
Золотую, беззаветную
Веру храни, Россия!
Загипсованы живые
Раны под античной лепкой.
Новорусская рулетка.
Власть уходит к гробоведам.

В себе Господа мы предали, —
Автоматы игровые.





РОК

Рок надо мною. Куда меня гоните?
По раскладушкам ночью, изгой.
Горе, как погреб,
в любой раскрывается комнате.
Ров подо мною — рок надо мной.

Что я хотел? Чтобы жить, как манило.
Что получилось? Счет гробовой.
Под колыбелью раскрылась могила.
Ров подо мною — рок надо мной.

А в небесах ненасытным уроком
воет душа,
что в сердцах самовольно нажала курок.
Рок над землей, где семья моя, — рок.

Чем я служил в эти светлые годы,
кроме стихов, что попутно изрек?
Я для народа был как бы громоотводом.
Трещит позвоночник. Такой уже рок.



БЕСЕДА В РИМЕ

Я спросил у Папы Римского:

«Вы верите в тарелки?»

Улыбнувшись как нелепости, мне ответил

Папа:

«Нет».

И Христос небес касался,
легкий, как дуга троллейбуса,
чтоб стекала к нам энергия,
движа мир две тыщи лет.

В папскую библиотеку

дух Ивáнова наведывался.

И шуршал рукав папирусный. Был по времени
обед.

Где-то к Висле мчались лебеди.

Шла сикстинская побелка.

И на дне реки познанья поблескивал стилет.

Пазолини вел на лежбище по Евангелю и

Лесбосу.



МОНОЛОГ МЕРЛИН МОНРО

Я Мерлин, Мерлин.
Я героиня
самоубийства и героя.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?
Невыносимо,

невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без рощ осиновых,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо
невыносимей!

Продажи. Рожи. Шеф ржет, как мерин
(Я помню Мерлин.
Ее глядели автомобили.
На стометровом киноэкране
в библейском небе,

меж звезд обильных,
над степью с крохотными рекламами
дышала Мерлин,
ее любили...

Изнемогают, хотят машины.
Невыносимо),
невыносимо
лицом в сиденьях, пропахших псиной!
Невыносимо, когда насильно,
а добровольно — невыносимей!

Невыносимо прожить, не думая,
невыносимее — углубиться.
Где наша вера? Нас будто сдунули,
существованье — самоубийство,

самоубийство — бороться с дрянью,
самоубийство — мириться с ними,
невыносимо, когда бездарен,
когда талантлив — невыносимей,

мы убиваем себя карьерой,
деньгами, ножками загорелыми,
ведь нам, актерам,
жить не с потомками,
а режиссеры — одни подонки,

мы наших милых в объятьях душим,
но отпечатываются подушки
на юных лицах, как след от шины,
невыносимо,

ах, мамы, мамы, зачем рожают?
Ведь знала мама — меня раздавят,
о кинозвездное оледененье,
нам невозможно уединенье,

в метро,
в троллейбусе,
в магазине
«Приветик, вот вы!» — глядят разини,

невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,
что сердце есть посередке,
в тебя завертывают селедки,
лицо измято,
глаза разорваны
(как страшно вспомнить во «Франс-Обсер-
вере»
свой снимок с мордой самоуверенной
на обороте у мертвой Мерлин!).

Орет продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,
ваш лоб — как бисерный!»

А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!

Самоубийцы — мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,
самоубийцы,
идет всемирная Хиросима,
невыносимо,
невыносимо все ждать,

чтоб грянуло,
а главное —
необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!

Невыносимо
горят на синем
твои прощальные апельсины...

Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше — сразу!

1963





АНТИМИРЫ

Живет у нас сосед Букашкин,
в кальсонах цвета промокашки.
Но, как воздушные шары,
над ним горят
Антимиры!

И в них магический, как демон,
вселенной правит, возлежит
Антибукашкин, академик,
и щупает Лоллобриджид.

Но грезятся Антибукашкину
виденья цвета промокашки.

Да здравствуют Антимиры!
Фантасты — посреди муры.
Без глупых не было бы умных,
оазисов — без Каракумов.

Нет женщин —
есть антимужчины,

в лесах режут антимашины.
Есть соль земли. Есть сор земли.
Но сохнет сокол без змеи.

Люблю я критиков моих,
На шее одного из них,
благоуханна и гола
сияет антиголова!..

...Я сплю с окошками открытыми,
а где-то свищет звездопад,
и небоскребы
сталактитами
на брюхе глобуса висят.

И подо мной
вниз головой,
вонзившись вилкой в шар земной,
беспечный, милый мотылек,
живешь ты, мой антимирок!

Зачем среди ночной поры
встречаются антимирры?

Зачем они вдвоем сидят
и в телевизоры глядят?

Им не понять и пары фраз.
Их первый раз — последний раз!

Сидят, забывши про бонтон,
ведь будут мучиться потом!

И уши красные горят,
как будто бабочки сидят.

...Знакомый лектор мне вчера
сказал: «Антимиры? Мура!»

Я сплю, ворочаюсь спросонок.
Наверно, прав научный хмырь...
Мой кот, как радиоприемник,
зеленым глазом ловит мир.

1961





НОЧНОЙ АЭРОПОРТ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Автопортрет мой, реторта неона, апостол
небесных ворот —
аэропорт!

Брезжат дюралевые витражи,
Точно рентгеновский снимок души.

Как это страшно, когда в тебе небо стоит
в тлеющих трассах
необыкновенных столиц!

Каждые сутки
тебя наполняют, как шлюз,
звездные судьбы
грузчиков, шлюх.

В баре, как ангелы, гаснут твои алкоголики.
Ты им глаголешь!

Ты их, прибитых,
возвышаешь!
Ты им «Прибытье»
возвещаешь!

и вокзалов-торгов —
одни поэты и аэропорты!
Стонет в аквариумном стекле
небо,
приваренное к земле.

Аэропорт — озона и солнца
аккредитованное посольство!

Сто поколений
не смели такого коснуться —

преодоленья
несущих конструкций.

Вместо каменных истуканов
стынет стакан синевы —
без стакана.

Рядом с кассами-теремами
он, точно газ,
антиматериален!

Бруклин — дурак, твердокаменный черт.

Памятник эры —
аэропорт.

1961



ЧУВСТВО

В запахи полыни и эрозии
падал ротный с хрипом на губе.
Эротическое чувство родины
прижимает, милая, к тебе.

И никелированная ересь,
месяцем пошедши на ущерб,
русский эрос — Эресэфэсэрос —
в небе молот скрещивал и серп.

Нержавейка озаряла серость
полосато, вроде лунных зебр.

За границей шепчем, как молитву,
наш нецензурованный словарь.
Дворянин, судимый за Лолиту,
сквозь нее усадьбу целовал.

Что сегодня называем «пошлостью»,
это не свобода сатаны,

это вопли на соборной площади
потерявшей родину страны.

Холода черемух приворотные...
Из чужих, заморских пропастей
эротическое чувство родины
тянет всех в последнюю постель.





ЩИПОК

Андрею Тарковскому

Блатные москворецкие дворы,
не ведали вы, наши Вифлеемы,
что выбивали матери ковры
плетеной олимпийской эмблемой.

Не только за кепарь благодарю
московскую дворовую закваску,
что, вырезав на тополе «люблю»,
мне кожу полоснула безопаской.

Благодарю за сказочный словарь
не Оксфорда, не Массачусетса —
когда при лунном ужасе главарь
на танцы шел со вшивую жемчужиной.

Наломано, Андрей, вселенских дров,
но мы придем —
коль свистнут за подмогой...
Давно заасфальтировали двор
и первое свиданье за помойкой.

1977



* * *

Сыграй мне полонез Огинского!
Дешевки хочется, огнистого.
В пошлятине и дешевизне
есть боль, оплаченная жизнью.

Мсти, мсти, мадмуазель Грушницкая!
За сверхлюдей, за ложь романов,
за полумесяцы брусничные
твоей помады на стаканах.

За всю судьбу нашу вокзальную,
за жите попытку истеричную,
за городок провинциальный,
опохмелившийся «Столичною».

И вдруг прервешь свой визг униженный,
упав на клавиши с локтями.
Такою чистоту увижу я,
глядящую в нас состраданьем!

Сквозь эту исповедь в отеле
вдруг понял я — почему именно
Он свое умершее тело
такой, как ты, доверил вымыть...

Еще, еще одну убили!
Да! — будет Свет, а не группешник.
Да! — не случались, а любили,
Да! — королева, а не пешка.





СИРЕНЬ

Сирень беременна —
лопнул ремень полисадника.
Сирень беременна —
просела скамейка и набухли грозди.
Он бросил семью и ушел к сирени.

Сирень беременна.
Разводом пахнет.
На плащ твой, на плечи покроя шинели
прилипли две звездочки пятипалые.
Не потеряй их, мичман сирени!

Все озверели. Такое время.
Но после грозы, как свиданья после,
стоят беременные сирени.
И новым смыслом набухли грозди.





РУССКАЯ PLAYMATE

Жрите, русские пельмени, соплеменников!
Но по сердцу страшно, если рашпилем,
Пой мне, Маша, первая плеймейт,
made in Russia!

Над страной, бронежилетной и ножовой,
как одежду и надежду, сбросив тело,
плачет голос, абсолютно обнаженный —
голый голос, чистый голос, голос белый!

Здравствуй, племя молодое, незнакомое!
«Абсолюта» дети, телки и плейбои.
Я такой не видел обнаженной
русской боли!

Боль за наши годы беззакония
и за ноту абсолютной боли, что ли...
Заоконное, слезою самогонною
плачет небо. Плачет ангел. Плачет поле.

Ты живешь безоблачной небес.
Одеваешься от Кензо, бесишь скептиков.
Но душа предпочитает без
контрасептиков.





РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПЛЯЖИ

Людмила, в сочельник,
Людмила, Людмила,
в вагоне зажженная елочка пляшет.
Мы выйдем у Взморья.
Оно нелюдимо.
В снегу наши пляжи!

В снегу наше лето.
Боюсь провалиться.
Под снегом шуршат наши тени песчаные.
Как если бы гипсом
криминалисты
следы опечатали.

В снегу наши августы, жар босоножек —
все лажа!
Как жрут англичане огонь и мороженое,
мы бросимся навзничь
на снежные пляжи.

Сто раз хоронили нас мудро и матерно,
мы вас «эпатируем счастьем», мудилы!..
Когда же ты встанешь,
останется вмятина —
в снегу во весь рост
отпечаток
Людмилы.

Людмила,
с тех пор в моей спутанной жизни
звонит пустота —
в форме шеи с плечами,
и две пустоты —
как ладони оттиснуты,
и тянет и тянет, как тяга печная!

С звездой во лбу прибегала ты осенью
в промокшей штормовке.
Вода западала в надбровную оспинку.
(Наверно, песчинка прилипла к
формовке.)

Людмила, ау! Я помолвлен с двойняшками.
Не плачь. Не в Путивле.
Как рядом болишь ты,

подушку обмявши,
и тень жалюзи
на тебе,
как тельняшка...

Как будто тебя
от меня ампутировали.





* * *

Когда совсем уж плохо,
я не тревожу Бога,
не открываю Блока —
я ухожу в дорогу.

И озарит из балки
заря необъяснимо
мне след от лыжной палки,
как ломтик апельсина.





* * *

Пусть жизни пролито полчаши,
дай им отпить. Не уходи.
Избавь нас пуще всех печалей,
печаль сердечной глухоты.

Хоть люди не прощают это,
но сердцу зрячему в награду
тебе из пачки сигаретной
сыграют трубочки органа.

В мученьях дней, в печатных ралли
сентиментальной лимиты
избавь нас пуще всех печалей,
печаль сердечной пустоты.





ОЧИСТИ СНЕГ

Очисти, снег, страну, сознание очисти.
Я руку поломал.
Я гипсочеловек.
Очисти, снег,
меня
исповедальной читкой.
Страну очисти,
снег.

Мне непонятно, с кем помолвлена отчизна.
Телеэкран души
зашкален от помех.
В душе идет метель.
Предсвадебный мальчишник.
Все пьяные, как снег.

На клавишах берез, взлетов, сыграем
«чижик».
Все — мокрые, как снег,
целуются при всех.

Беспрецедентный снег, ты дух или материя?
или повальный грех?

У родины моей
менталитет метели.
Смертельно люблю снег.

Люблю ногами вверх висящие кальсоны,
в морозе, как собор
из колоколен двух...

Очисти, снег, страну
не конституционно,
а исповедью вслух.

Не трогай, гнев, страну, которой нет беднее.
Не трогай, смех, страну.
К нам падает с небес
мольба объединенья.
Я снегу присягну.

Объедини печаль Борисова-Орехова
и тех, которых нет.
Как я люблю страну,
которая уехала,
и ту, что смотрит этот снег...

Очисти душу, снег, — немедленно, сегодня.
И небо разгипсуй.
Стряхнет снег с проводов
невидимый Сеговья.
Снег абсорбирует абсурд.



ОЗЕРО

Я ночью проснулся. Мне кто-то сказал:
«Мертвое море — священный Байкал».

Я на себе почувствовал взор,
будто я моря убийца и вор.

Когда ты болеешь, все мы больны.
Байкал, ты — хрустальная печень страны!

И кто-то добавил из глубины:
«Байкал — заповедная совесть страны».

Плыл я на лодке краем Байкала.
Вечер посвечивал вполнакала.

Ну неужели наука солгала
над запрокинутым взором Байкала?

Надо вывешивать бюллетень,
как себя чувствует омуль, тюлень,

чтобы никто никогда не сказал:
«Мертвое море — священный Байкал».



ПЛОВЕЦ

Дай мне выплыть из бездн. Я забыл тебя, брасс.
Руки-ноги мертвы, бл...дь.
Дай мне, Господи, выплыть единственный раз.
Дай мне выплыть.

Я любил в черной шапочке, как Фантомас,
вздыбить лыжами Припять.
Брасс мой, брат мой,
предавший товарища брасс!
Дай мне выплыть.

Доигрался, «играющий чемпион»?
Рыбки детская киноварь
поумней, чем заносчивый черепок,
дай мне вынырнуть.

Сколько всплыло дерьма!
Ты одна, как луна,
тянешь в жизнь. Неужели
оказалось сильнее притяжение дна
Твоего притяженья?

Что-то стало со мною и со страной?
Жизнь — без выплат...
Изумрудная чайка над тяжелой водой,
дай мне выплыть!





* * *

Был бы я крестным ходом,
я от каждого храма
по городу ежегодно
нес бы пустую раму.

И вызывали б слезы
и попадали б в раму
то святая береза,
то реки панорама.

Вбежала бы в позолоту
женщина, со свиданья
опаздывающая на работу,
не знающая, что святая.

Левая сторона улицы
видела б святую правую.
А та, в золотой оправе,
глядя на нее, плакала бы.

1980



ПРОЩАНИЕ С МИКРОФОНОМ

Театр отдался балдежу.
Толпа ломает стены.
Но я со сцены ухожу.
Я ухожу со сцены.

Я, микрофонный человек,
я вам пою век целый.
Меня зовут — XX век.
Я ухожу со сцены.

Со мной уходят города
и стереосистемы,
грех опыта цвета стыда,
науки «нота бена»,
и одиночества орда —
вы все уходите туда —
и в микрофонные года
уходит сцена.

На ней и в годы духоты
сквозило переменой.

Вожди вопили: «Уходи!»
Я выходил на сцену.

Я не был для нее рожден.
Необъяснима логика.
Но дышит рядом стадион,
как выносные легкие.

Мы на единственной в стране
площадке без цензуры
смысл музыки влагали в не-
цензурные мишуры.

Звучит сейчас везде она.
Пой, птица, без решеток!
Скучна
мне сцена разрешенных.

К тебе приду еще не раз —
уткнусь в твои колена.
Нам невозможно жить без нас!
Я ухожу со сцены.

Люблю твоих конструкций ржу,
как лапы у сирены.
Но я со сценой ухожу,
я ухожу со сценой.

Мчим к голографий рубежу.
Там сцены нет, что ценно.

Но я со сценой ухожу,
я ухожу со сценой.

Благодарю, что жизнь дала,
и обняла со всеми,
и посадила на крыла.
Они зовутся Время.

Но в новых снах, где ночь и Бог,
мне будет сцена сниться —
как с черной точкою желток,
который станет птицей.





ОТВЕТ НА ЗАПИСКУ

Все пишут — я перестаю.
О Сталине, Высоцком, о Байкале,
Гребенщикове и Шагале
писал, когда не разрешали.
Я не хочу «попасть в струю».





* * *

Ревет судилища орда.
Я прокаженным был, казалось.
И только женщина одна
Подошла, не отказалась.

Бреду меж темени, и луж,
и черепов, как Верещагин.
Но женщина, как желтый луч,
мою дорогу освещает.





МОНОЛОГ АКТЕРА

Провала прошу, провала.
Гаси ж!
Чтоб публика бушевала
и рвала в клочки кассирш.

Чтоб трусиками, в примерочной
меня перематюгав,
зареванная премьерша
гуляла бы по щекам!

Мне негодование дорого.
Пусть в рожу бы мне исторг
все сгнившие помидоры
восторженный Овощторг!

Да здравствует неудача!
Мне из ночных глубин
открылось — что вам не маячило.
Я это в себе убил.

Как школьница после аборта,
пустой и притихший весь,
люблю тоскою аортовой
мою нерожденную вещь.

Прости меня, жизнь.
Мы — гости,
где хлеб, и то не у всех,
когда земле твоей горестно,
позорно иметь успех.





**ПОЖАР
В АРХИТЕКТУРНОМ ИНСТИТУТЕ**

Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
амнистией по тюрьмам —
пожар! Пожар!

По сонному фасаду
бесстыже, озорно
гориллой
краснозадою
взвивается окно!

А мы уже дипломники,
нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
мои выговора!

Ватман — как подраненный,
красный листопад.
Горят мои подрамники,
города горят.

Бутылью керосиновой
взвилось пять лет и зим...
Кариночка Красильникова,
ой! Горим!

Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
коровники в амурах,
райкомы в рококо!

О юность, феникс, дурочка,
весь в пламени диплом!
Ты машешь красной юбочкой
и дразнишь язычком.

Прощай, пора окраин!
Жизнь — смена пепелищ,
Мы все перегораем.
Живешь — горишь.

А завтра, в палец чиркнувши,
вонзится злей пчелы
иглочка от циркуля
из горсточки золы...

...Все выгорело начисто.
Милиции полно.
Все — кончено?
Все — начато!
Айда в кино!



ПОЮТ НЕГРЫ

Мы —
тамтамы гомеричные с глазами горемычными,
клубимся, как дымы, — мы...

Вы —
белы, как холодильники, как марля карантинная,
безжизненно мертвы —
вы...

О чем мы поем вам?

О
руках ваших из воска, как белая известка,
о, как впечатались
 между плечей печальных,
о, наших жен печальных,
 как их позорно жгло — о-о!

«Н-но!» —
нас лупят, точно клячу, мы чаевые кланчим,
на рингах и на рынках у нас в глазах темно,
но,

когда ночами спим мы, мерцают наши спины,
как звездное окно.

В нас,
боксерах, гладиаторах, как в черных радиаторах
или в пруду карась,
созвездья отражаются
торжественно и жалостно —
Медведица и Марс —
в нас...

Мы — негры, мы — поэты,
в нас плещутся планеты.

Когда нас бьют ногами —
пинают небосвод.
У вас под сапогами
Вселенная орет!

1961





НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ЗНАЧКИ

Блещут бляхи, бляхи, бляхи,
возглашая матом благим:

«Люди — предки обезьян»,
«Губернатор — лесбиян»,
«Непечатное — в печать!»,
«Запретите запрещать!»

«Бог живет на улице Пастера, 18.
Вход со двора».

Обожаю Гринич-Вилидж
в саркастических значках.
Это кто мохнатый вылез,
как мошна в ночных очках?

Это Ален, Ален, Ален!
Над смертельным карнавалом,
Ален, выскочи в исподнем!
Бог — ирония сегодня.
Как библейский афоризм
гениальное «Вались!».

Хулиганы? Хулиганы.
Лучше сунуть пальцы в рот,
чем закуснуть куликами
буржуазовых болот!

Бляхи по местам филейным,
коллективным Вифлеемом
в мыле давят трепака —
«мини» около пупка.

Это Селма, Селма, Селма
агитирующей шельмой
подмигнула и — во двор:
«Мэйк лав, нот уор».

Бог и ирония сегодня.
Блещут бляхи над зевотой.
Тем страшнее, чем смешней,
и для пули — как мишень!

«Бог переехал на проспект Мира, 43. 2
звонка».

И над хиппи, над потопом
ироническим циклопом
блещет Время, как значком,
округлившимся зрачком!

*Ах, Время,
сумею ли я прочитать, что написано
в твоих очах,*

мчащихся на меня,
увеличиваясь, как фары?
Успею ли оценить твою хохму?..
Ах, осень в осиновых кружочках...

Ах, восемь
подброшенных тарелочек жонглера,
мгновенно замерших в воздухе,

будто жирафа убежала,
а пятна от нее
остались...

Удаляется жирафа
в бляхах, будто мухомор,
на спине у ней шарахнуто:
«Мэйк лав, нот уор!»

1968





ПОП-ПЕВЕЦ

Мы, вампиры,
предпочитаем коммунальные квартиры.

Ваши стоматологи сидят в ампирах —
беда вампирам...

Я — вампир. Но не в смысле переливания
крови.

Не боюсь креста, чеснока и пр.
Я подзаряжаюсь вашей любовью.
Вампир.

У меня есть тайное место за Онегою,
или Кожеозерский монастырь.
Князь там перед битвой подзаряжался энергией.
Вампир?

Вот почему женщины, мной покинутые,
чувствуют вакуум и упадок сил.

Сволочь посвежевшая, иду по Киевской.
Я — вампир.

Но это называется победой пирровой.
Когда выходите на стадион —
он вас коллективным вампиром
высасывает, как лимон.

И люди заряжаются вашей жизнью,
живут ею месяцы, становятся добрей.
Разъезжаются с нею в Орлы и Жиздры
и вам присылают своих дочерей.

Господи, чем мы тебя обидели?
Как сладко и страшно устроен мир.
А вампиры сосут родителей.
И всех высасывает земля-вампир.

Ты вошла в гостиницу, зубки пилкой,
был в утренних объятьях застенчивый укор —
вампирка! —
последнее, что помню — в горло укол.

Теперь пролетаю, как демон мщенья.
Где ты? Но поздно — тебя я полюбил.
В квартирах отключается освещение.
И женщины чувствуют прилив сил.





ФРАГМЕНТ АВТОПОРТРЕТА

Я нищая падаль. Я пища для морга.
Мне душно, как джинну в бутылке
прогорклой,
как в тьме позвоночника костному мозгу!

В камерке моей, как в гробнице промозглой,
Арахна свивает свою паутину.
Моя дольче вита пропахла помойкой.

Я слышу — об стену журчит мочевина.
Угрюмый гигант из священного шланга
мой дом подмывает. Он пьян, очевидно.

Полно во дворе человечьего шлака,
Дерьмо каменеет, как главы соборные.
Избыток дерьма в этом мире, однако.

Я вам не общественная уборная!
Горд вашим доверьем. Но я же не урна...
Судьба моя скромная и убогая.

Теперь опишу мою внешность с натуры,
Ужасен мой лик, бороденка — как щетка.
Зубарики пляшут, как клавиатура.

К тому же я глохну. А в глотке щекотно!
Паук заселил мое левое ухо,
а в правом сверчок верещит, как трещотка.

Мой голос жужжит, как под склянкою муха.
Из нижнего горла, архангельски гулкая,
не вырвется фуга плененного духа.

Где синие очи? Пovýцвели буркалы.
Но если серьезно — я рад, что горюю,
я рад, что одет, как воронее пугало.

Большая беда вытесняет меньшую.
Чем горше, тем слаще становится участь.
Сейчас оплеуха милей поцелуя.

Дешев парадокс — но я радуюсь, мучась.
Верней, нахожу наслажденье в печали.
В отчаянной доле есть ряд преимуществ.

Пусть пуст кошелек мой. Какие детали!
Зато в мочевом пузыре, как монеты,
три камня торжественно забренчали.

Мои мадригалы, мои триолеты
послужат оберткою в бакалее
и станут бумагою туалетной.

Зачем ты, художник, парил в эмпиреях,
к иным поколениям взвивал свой треножник?!
Все прах и тщета. В нищете околею.
Таков твой итог, досточтимый художник.

1979





ЛЮМПЕН-ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Опять надстройка рождает базис.
Лифтер бормочет во сне Гельвеция.
Интеллигенция обуржуазилась.
Родилась люмпен-интеллигенция.

Есть в русском «люмпен» от слова «любят».
Как выбивались в инженера,
из инженеров выходит в люди
их бородатая детвора.

Их в институты не пустит гордость.
Там сатана правит бал тебе.
На место дворника гигантский конкурс —
музы носятся на метле!..

Двадцатилетняя, уже кормящая,
как та княгинюшка на Руси,
русская женщина новой формации
из аспиранток ушла в такси.

Ты едешь бледная — «люминесценция»! —
по темным улицам совсем одна.
Спасибо, люмпен-интеллигенция,
что можешь счетчик открыть с нуля!

Не надо думать, что ты без сердца.
Когда проедешь свой бывший дом,
две кнопки, вдавленные над дверцами,
в волненье выпрыгнут молодым...

Тебя приветствуют, как кровники,
ангелы утренней чистоты.
Из академиков выходят в дворники —
кому-то надо страну мести!

1978





ПРОЩАНИЕ С ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ

*Большой аудитории
посвящаю*

В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!

Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрецины!
Как нам мешчане мешали встретиться!

Ура вам, дура
в серьгах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет — налево.

Ура, галерка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий как бог языческий
Твое Величество —

Политехнический!

Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит «Ура».

12 скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово.
В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,
с копной на лбу,
я вас не знаю.

Я вас — люблю!

Чему смеетесь? над чем всплакнете?
и что черкнете, косясь, в блокнотик?

что с вами, синий свитерок?
в глазах тревожный ветерок...

Придут другие — еще лиричнее,
но это будут не вы —
другие.

Мои ботинки черны, как гири.
Мы расстаемся, Политехнический!

Нам жить не долго. Суть не в овациях.
Мы растворяемся в людских количествах



* * *

Б. Ахмадулиной

Нас много. Нас может быть четверо.
Несемся в машине как черти.
Оранжеволоса шоферша.
И куртка по локоть — для форса.

Ах, Белка, лихач катастрофный,
нездешняя ангел на вид,
люблю твой фарфоровый профиль,
как белая лампа горит!

В аду в сковородки долдонят
и вышлют к воротам патруль,
когда на предельном спидометре
ты куришь, отбросивши руль.

Люблю, когда, выжав педаль,
хрустально, как тексты в хорале,
ты скажешь: «Какая печаль!»
Права у меня отобрали...

Понимаешь, пришили превышение
скорости в возбужденном состоянии.
А шла я вроде нормально...»
Не порть себе, Белочка, печень.
Сержант наш, конечно, мудрей.

Но нет твоей скорости певчей
в коробке его скоростей.

Обязанности поэта
нестись, позабыв про — ОРУД.
Брать звуки со скоростью света,
как ангелы в небе поют.

Жми, Белка, божественный кореш,
И пусть не собрать нам костей.
Да здравствует певчая скорость,
убийственной из скоростей!

Что нам впереди предначертано?!..
Нас мало. Нас может быть четверо.
Мы мчимся — а ты божество!
И все-таки нас большинство.





* * *

Сладким ротиком от халвы,
нежно щечки надувши, как сахарница,
удивленно ответили Вы:
«Ну кто сейчас трахается?!»

В окнах лезут авто на авто.
Голубица от страсти отряхивается.
Одеваясь, сказали: «Ну кто
сейчас не трахается?!»





ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАЛ

Я люблю в Консерватории
не Большой, а Малый зал.
Словно скрипку первосортную,
его мастер создавал.

И когда смычок касается
его певчих древесин,
Паганини и Касальсы
не соперничают с ним.

Он касается Истории,
так что слезы по лицу.
Липы спиленные стонут
по Садовому кольцу.

Сколько стона заготовили...
Не перестраивайте вы
Малый зал Консерватории —
скрипку скрытую Москвы.

Деревянные сопрано
венских стульев без гвоздей.

Этот зал имеет право
хлопать посреди частей.

Белой байковой прокладкой
скутан пол и потолок —
исторической прохладой,
чтобы голос не продрог.

Когда сердце сиротою,
не для суетных смотрин
в малый сруб Консерватории
приходить люблю один.

Он еще дороже вроде бы,
что ему грозит пожар —
деревянной малой родине.
Обожаю Малый зал.

Его зрители — студенты
с гениальностью в очах
и презрителным брезентом
на непризнанных плечах.

Пресвятая профессура
исчезающей Москвы
нос от сбившейся цезуры
морщит, как от мошкары.

В этом схожест с братством ложи
я до дрожи узнавал.

Боже,
как люблю я Малый зал!

Даже не консерваторская,
а молитвенная тишь...

В шелковой косовороточке
тайной свечкой ты стоишь.

Облак над Консерваторией
золотым пронзен лучом —
как видение Егория
не с копьём, но со смычком.





ЗАЛ ЧАЙКОВСКОГО

В Зале Чайковского лгать не удастся.
Синие кресла срываются с круга —
белой полоскою, как адидасы.
Здесь тренируется Сборная духа.

Люди поэзии, каждую осень
Мы собираемся в Зале Чайковского.
В черных колечках пикируют осы
К девочке в стрижечке мальчуковой.

Государство раздело интеллигенцию
почти догола, точно в Древней Греции
Климат не тот. Холодает резко.
В плюшевых креслах согреем чресла...

Сытый толкает тележку с провизией,
родине нищей сочувствие выразив.
Цензоры с визгом клянут телевизоры,
не вылезая из телевизоров.

Зал этот строился для Мейерхольда.
Сборная духа пошла под дуло.
Нынче игра в обстановочке холода,
Не проиграй ее, Сборная духа.





ПАРА-ШУТ

- Как живете, старый шут нового типа?
- Спасибо.

У народа зуд, зуд:

- С кем живете, шут, шут?
- С Макаревичем ел суп!
- Яйцо красит в перламутр...
- Башню Татлина ввернут тебе в попку, как шуруп.
- Строишь виллу у Бермуд — с каких ссуд?!

А народы ждут, ждут
миллион зеленых роз...

Я надену белый suit.

Я надену красный нос.

— Ишь, хохмит над беспределом.

Мы — в дерьме, а он весь в белом?!.

Парашют освоил он.
Шут летит над Азиопой
к Богу обращен лицом,
а к народу — пышной сдобой?!

— Чертик в колбе!

— «Самел» вреден по Минздраву —
Перейдем на анашу.

Вместо маски карнавала
ваше зеркало ношу.

А кругом — пьяный снег
Параноев ковчег.
Ржет порнокопытный век.
Стой! Ноги вверх!

С неба сеет
нонпарель.
Кто Есенин?
ПараЛель...

Глазки, милая, открой.
Бег с Тобою? Шут с Тобой!

Есть ли что срамней души?
Есть ли что смешней рубля?
Соревнуются шуты
примерять колпак Кремля.

Если скажешь суть, суть —
тебе скажут: «Шут, шут!»

Клоун, он всегда alone,
хоть толпою избалован.

Одинок.

На прострелянных баллонах
дует с горки ледяной.

— У виска кручу палец с ухмылкой
не за тем, чтоб дразнить дурака.

Просто я зажимаю дырку
от пробитого пулей виска.





ПИР

Человек явился в лес,
всем принес деликатес:

лягушонку
дал сгущенку,

дал ежу,
что — не скажу,

а единственному волку
дал охотничью водку,

налил окуню в пруды
мандариновой воды.

Звери вежливо ответили:
«Мы еды твоей отведали.
Чтоб такое есть и пить,
надо человеком быть.
Что ж мы попусту сидим,
хочешь, мы тебя съедим?»

Человек сказал в ответ:

«Нет.

Мне ужасно неудобно,
но я очень несъедобный.

Я пропитан алкоголем,
аллохолом, аспирином.

Вы меня видали голым?

Я от язвы оперируем.

Я глотаю утром водку,
следом тассовскую сводку,
две тарелки, две газеты,
две магнитные кассеты,
и коллегу по работе,
и два яблока в компоте,
опыленных ДДТ,
и т.д.

Плюс сидит в печенках враг,

курит импортный табак.

В час четыре сигареты.

Это убивает в день
сорок тысяч лошадей.

Вы хотите никотин?»

Все сказали: «Не хотим,
жаль тебя. Ты — вредный, скушный:

если хочешь — ты нас кушай».
Человек не рассердился
и, подумав, согласился.

1975





* * *

Фиалки — твои филиалы.
Фиалки внутри тебя.
Я вечером их поливаю,
на клумбу пересажая.

Как скомканный плащик нейлона,
тревожней, чем Фалька этюд,
в твоём уголке потаенном,
рыдая, фиалки цветут.

Вишнево коричневые губы
таят корневища. Хранят
чернику вкусившие губы
фиалковый аромат.

Стреляют. Рыгает филин.
Поливщик, пою сады.
Фиалки — не некрофилки,
алкают живой воды.

Я пил из Господней пиалы.
Упав на колени во тьму,
с твоих несмышленных фиалок
счастливые слезы сниму.





МУСАТОВСКАЯ СИРЕНЬ

Вопрошал меня Саратов
по приезде в первый день:
«Как вам нравится Мусатов?»
Я сказал: «Люблю сирень!»

Жил в Саратове бессребреник,
живописец из мещан —
в безутешные сирени
своих женщин превращал.

Разве импрессионисты
открывали пуантель?
В крестик вышитые кисти
или Афанасий Шмель.

И махровая усадьба,
словно белая сирень,
в палисаднике Мусатова
сохранилась по сей день.

Словно речь по телефону,
вопрошающий нехрим.
С Виктором Эльпидифорычем
через грозди говорим.

Озаренные озера.
Все простившая страна,
околдованная взором
голубого горбуна.

Где ни едешь — смотрит в форточку —
поломай, кому не лень! —
Виктора Эльпидифорыча
гобеленная сирень.





СЕКС-КОНТРЫ

Оцепление оцепенело.
Толпа голых на Маяковке.
Партия сексуальных контрреволюционеров
проводит первую маевку.

Фасоны развратны и лицемерны.
Нудисты бреют козла.
Сексуальные контрреволюционеры
идут в чем Родина родила.

Сексуальные Робеспьеры,
бросьте эксы! В свету реклам
сексуальные контрреволюционеры
превращают в барышень дам.

«Купите бабушкин кекс!
И екатерининский секс!
Вы чемпион. Но экс...»

И гекз —
аметры слышны в речах:

На Джоконде усы Сервантеса.
Превративши нули в рули,
наши новые консерваторы
стоят на древнего Дали.

И ты, сексуальная контрреволюционерка,
выйдешь в сад, от измен устав, —
где жасмин расцвел, как галлюцинация,
как белый рояль в кустах.

Все меньше тебя волнует концепт,
все больше Первый концерт,
вдыхаешь сирень, как поэт К.Р. —
сексуальный контрреволюционер.

«Мы идем вперед задом, сменив знамена.
Отключай электричество, познания свеча!
Молодежь подхватывает традиционное
знамя Ильича.
Петра Ильича».





* * *

Люб мне Маяковский-Командор,
гневная Цветаева — Медуза,
мускусный Кузмин и молодой
Заболоцкий — гинеколог музыки.

Но едва спадает битвы жар
или лай особенно несносен,
Державина громоздкий дирижабль
меня с чугунной легкостью уносит.





* * *

Сон.
В наш ЖЭК
вошли Брук
и Джек
Никольсон.
Ни брюк. Ни кальсон.
Ни ног. Ни рук.
Лишь две души.
Поглядели на бюст с никелированным
лицом.
И ушли.
Сон.
Но я потрясен.





Я — MONEY

Фирма —
маниманиманимани — *нема* —
вложи в дома! —
неманиманиманимани-Манэ, 4 Мани,
мы в романе! —
маниманиманимани — *нема* —
тюрьма — из-за дерьма? —
маниманияманияМММанияманияманиямани —

я — манияманимани —
НЕМА





ХОР НИМФ

Я 41-я на Плисецкую,
26-я на пледы чешские,
30-я на Таганку,
35-я на Ваганьково,
кто на Мадонну — запись на Морвокзале,
а Вы с ребенком, тут не стояли!
Кто был девятой, станет десятой,
Борисова станет Мусатовой,
я 16-я к главному,
75-я на Глазунова,
110-я на аборт
(придет очередь — подработаю),
26-я на фестивали,
а Вы с ребенком, тут не стояли!
47-я на автодетали
(меня родили — и записали),
я уже 1000-я на автомобили
(меня записали — потом родили),
что дают? кому давать?
А еще мать!

Я 45-я за тридцать пятью,
а Вы с ребенком, чего тут пялитесь?
Кто на Мадонну — отметка в 10-ть.
А Вы с ребенком — и не надейтесь!
Не вы, а я — 1-я на среду,
а Вы — первая куда следует...
(Продолжение следует)





* * *

Тихо-тихо. Слышно точно,
как текут секунды дней.
Струйкой тихою песочка
пересыпается цепочка
на шее дышащей твоей...





* * *

С тобой богатыми мы были!
Качались в наших чердаках
лучи, окутанные пылью,
как будто в золотых чулках.





НЕ ЗАБУДЬ

Человек надел трусы
майку синей полосы,
джинсы белые, как снег,
надевает человек.

Человек надел пиджак,
на него нагрудный знак
под названьем «ГТО».
Сверху он надел пальто.

На него, стряхнувши пыль,
он надел автомобиль.
Сверху он надел гараж
(тесноватый — но как раз!),
сверху он надел наш двор,
как ремень надел забор,
сверху наш микрорайон,
область надевает он.
Опоясался как рыцарь
государственной границей.

И, качая головой,
надевает шар земной.
Черный космос натянул,
крепко звезды застегнул,
Млечный Путь — через плечо,
сверху — кое-что еще...

Человек глядит вокруг. Вдруг —
у созвездия Весы
вспомнил, что забыл часы.

(Где-то тикают они
позабытые, одни?..)

Человек снимает страны,
и моря, и океаны,
и машину, и пальто.
Он без времени — ничто.

Он стоит в одних трусах,
держит часики в руках.
На балконе он стоит
и прохожим говорит:
«По утрам, надев трусы,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧАСЫ!»



ШЛО УБИЙСТВО

Шло убийство по шумной Битце,
шло, жуя пирожок незло.

Вы заказывали убийство?

Шло убийство. Убийство шло
сериалами голубыми.

В наших креслах от них светло.

Мы пришли по телам любимых
в эти кресла. Убийство шло.

Обожаю твой труп улыбочатый
и фасон а la НЛО.

К твоим карим идет убийство!

Верней, шло.

Войду в дом убиенный. Charming!

Никого. Дом усоп.

Я пощупаю лоб у чайника.

Он еще теплый, лоб.

Что сердечко твое измаяло —

кровь, любовь или страсть раскола?

«Катерина Измайлова» —
это «Манон» Лескова.

В нас мозги пожирают печень.
Певчий дар проклевал нутро.
В семьях праведных и беспечных,
словно газ из незримой печи,

что-то шло
из щелей. Потянуло кайфом.
Сын снял мать с гвоздя, как тулуп.
И любовник, выпав из шкафа,
оправдывается: «Я — труп!»

Вы заказывали клубничку?
Почему идем в шоубизнес?
Почему у нас трупные лица?
Почему мы *туда* хотим?
Даже повесть о самоубийце
называем: «Митин интим».

Шло счастливое наше детство.
Сквозь рыдания взрослых драм
мчался вспухнувший от младенцев
цилиндрический Иордан.

Как влюбленный в Леннона киллер,
запредельная страсть таятся.
Пожалейте детишек хилых!
Они — маленькие убийцы.

Жизнь — природы интеллигенция.
Возвращенье к истокам шло,
возврат гения, извращенца,
во всеобщее большинство...

Я живу. Боюсь углубиться.
Я не знаю — кого? за что? —
но я знаю — идет убийство.
Вернее, шло.





ЭФИРНЫЕ СТАНСЫ

*(написанные во время пребывания
в телящике с К. Кедровым)*

Мы сидим в прямом эфире.
Мы для вас, как на корриде.
Мы сейчас в любой квартире —
говорите, говорите.

Кто-то в нос, как гайморит,
что я заразен, говорит.
У кого что болит,
тот о том и говорит.

Вянем, уши растопыря,
в фосфорическом свету,
словно бабочки в эфире
или в баночке, в спирту,

Костя, не противься бреду.
Их беде пособолезнуй.
В брани критиков (по Фрейду) —

их истории болезни.
У кого что болит,
тот о том и говорит.

Вся Россия в эйфории.
Митингуют поварихи.
Говорящие вороны.
Гуси с шеей Нефертити.
Мы за всех приговоренные
отвечать здесь. Говорите.

Я виновен, что Отечество
у разбитого корыта.
Если этим вы утешитесь —
говорите, говорите.

Где-то в жизни аварийной
стриженная, как мальчиш,
милая периферия,
дышишь в трубку и молчишь

Не за облаком, не в Фивах,
философствуя извне,
мы сидим в прямом эфире,
мы живем в прямом дерьме.

Мы живем не так, чтоб сытно.
Нет бензина. Есть «низ неб».
Костя, Костя, друг мой ситный:
кушаем никоваХлеб.

Я, наверно, первый в мире
из поэтов разных шкал,
кто стихи в прямом эфире
на подначку написал.

Иль под взглядами Эсфири,
раньше всех наших начал,
так Христос в прямом эфире
фарисеям отвечал.

Ночь сознания. Как помирим
эту истину и Ту?..

Станем мыслящим эфиром,
пролетая темноту.

Ночь 21/22 июня 1993 г.





ЛАСТОЧКИ

На май обрушились метели.
Проснулся — ласточек полно.
Две горных ласточки влетели
в мое окно. Мое окно
они открыли, леденя —
небесно-бедственная весть!
Теперь сидят на батарее,
высокомерничают есть,
бесстыдничают в оперенье,
в них что-то есть. Какая спесь!

Пошли по моим книгам зыркать,
искать жемчужное зерно.
К их ключикам-малокозырмам
явилась третья сквозь окно.
Она, как чьи-то мысли дальние,
часами может замирать.
На лоб оконочный спадает
крыло ненужное, как прядь.

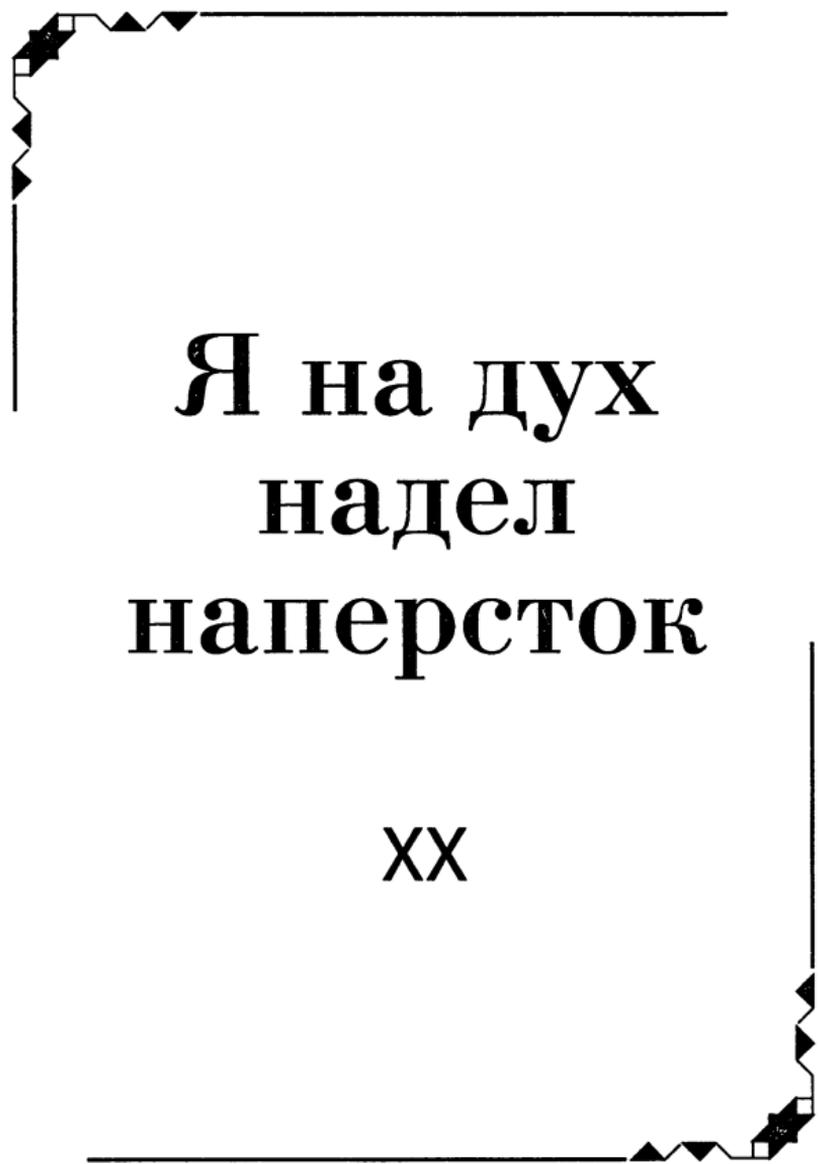
Я выпустил три синих тома.
И вот сигнал, что кто-то их
там прочитал в мирах бездомных
и мне отправил три своих.
Чем отдарю я дар твой тихий
и это счастье повидать,

как треугольные пловчихи —
из угла в угол и опять, —
сто верст пытаюсь налетать,
перекрестили красотой
мой дом, как синее письмо!

Шуршат их крылышки в кроссовках,
как бог Гермес. И все синее!..
О небесах напоминанье
они встречали не без зла.
А может, мы не понимаем,
что значат наши небеса?

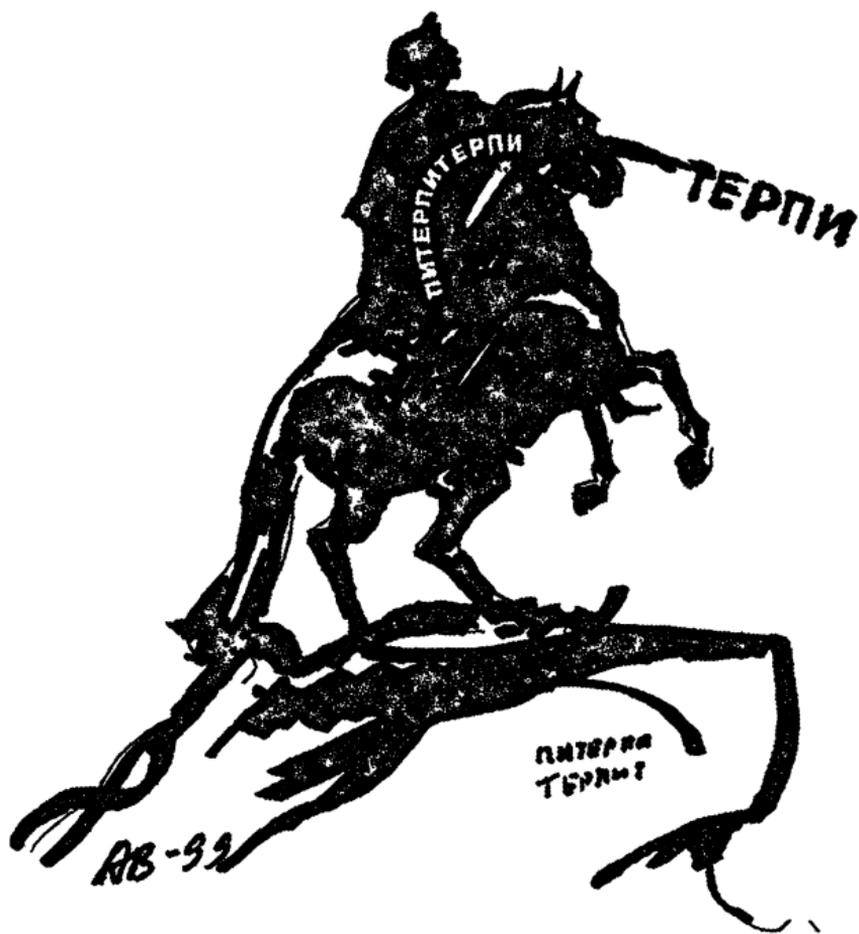
Пока они не улетели,
я щелкал с них фотоэтюды.
Я улетел через неделю.
В квартире ласточки живут.





**Я на дух
надел
наперсток**

XX



ПМТЕРПИТЕРПИ

ТЕРПИ

ПМТЕРПИ
ТЕРПИ

AB-92



ВОЛЬНООТПУЩЕННИК ВРЕМЕНИ

Вольноотпущенник Времени возмущает
его рабов.

Лауреат Сталинской премии на десять годов
ввел формулу Тяжести Времени.

Мир к этому не готов.

Его оппонент в полемике выпрыгнул из своих
зубов.

Вольноотпущенник Времени восхищает его рабов.

Был день моего рождения. Чувствовалась духота.
Ночные персты сирени, протягиваясь с куста,
губкою в винном уксусе освежали наши уста.

Отец мой небесный, Время, испытывал
на любовь.

Созвездье Быка горело. С низин подымался рев —
в деревне в хлеву от ящура живьем сжигали коров.

Отец мой небесный, Время, безумен
Твой часослов!

На неподъемных веках стояли гири часов.
Пьяное это из темени кричало, ища коробок,
что Мария опять беременна, а мир опять не готов...

Вольноотпущенник Времени вербует ему рабов.

1975





ПАРИЖ БЕЗ РИФМ

Париж скребут. Париж парадят.
Бьют пескоструйным аппаратом.
Матрон эпохи рококо
продраивает душ Шарко!

И я изрек: «Как это нужно —
содрать с предметов слой наружный,
увидеть мир без оболочек,
порочных схем и стен барочных!...»

Я был пророчески смешон,
но наш патрон, мадам Ланшон,
сказала: «О-ля-ля, мой друг!...»
И вдруг —
город преобразился,
стены исчезли, вернее, стали прозрачными,
над улицами, как связки цветных шаров,
висели комнаты,
каждая освещалась по-разному,
внутри, как виноградные косточки,
горели фигуры и кровати,

вещи сбросили панцири, обложки, оболочки,
над столом
коричнево изгибался чай, сохраняя форму
чайника,
и так же, сохраняя форму водопроводной
трубы,
по потолку бежала круглая серебряная вода,
в соборе Парижской Богоматери шла месса,
как сквозь аквариум,
просвечивали люстры и красные кардиналы,
архитектура испарилась,
и только круглый витраж розетки
почему-то парил над площадью, как знак:
«Проезд запрещен»,
над Лувром из постаментов,
как 16 матрасных пружин,
дрожали каркасы статуй,
пружины были во всем,
все тикало,

о Париж,
мир паутинок, антенн и оголенных
проволочек,
как ты дрожишь,
как тикаешь мотором гоночным,

о сердце под лиловой пленочкой,
Париж
(на месте грудного кармашка, вертикальная,
как рыбка,
плыла бритва фирмы «Жиллет»)!

Париж, как ты раним, Париж,
под скорлупою ироничности,
под откровенностью, граничащей
с незащищенностью.
Париж,

в Париже вы одни всегда,
хоть никогда не в одиночестве,
и в смехе грусть,
как в вишне косточка,
Париж — горящая вода,

Париж,
как ты наоборотен,
как бел твой Булонский лес,
он юн, как купальщицы,
бежали розовые собаки,
они смущенно обнюхивались,
они могли перелиться одна в другую,
как шарики ртути,
и некто, голый, как змея,
промолвил: «Чернобурка я»,

шли люди,
на месте отвинченных черепов,
как птицы в проволочных
клетках,
свистали мысли.

Монахиню смущали мохнатые мужские
видения,
президент мужского клуба потряслся
разоблачениями
(его тайная связь с женой раскрыта,
он опозорен),
над полисменом ножки реяли,
как нимб, в серебряной тарелке
плыл шницель над певцом мансард,
в башке ОАСа оголтелой

дымился Сартр на сковородке,
а Сартр,
наш милый Сартр,
задумчив, как кузнечик кроткий,
жевал травиночку коктейля,
всех этих таинств

мудрый дух
в соломинку,
как стеклодув,
он выдул эти фонари,

весь полый город изнутри,
и ратуши и бюшери,
как радужные пузыри!

Я торможу его:
«Мой Сартр,
мой сад, от зим не застекленный,
зачем с такой незащищенностью
шары мгновенные
летят?

Как страшно все обнажено,
на волоске от ссадин страшных,
их даже воздух жжет, как рашпиль,
Мой Сартр!
Вдруг все обречено?!»
Молчит кузнечик на листке
с безумной мукой на лице.

Било три...

Мы с Ольгой сидели в «Обалделой лошади»,
в зубах джазиста изгибался звук в форме
саксофона,
женщина усмехнулась.
«Стриптиз так стриптиз». —
сказала женщина,

и она стала сдирать с себя не платье, нет, —
кожу!

как снимают чулки или трикотажные
тренировочные костюмы.

— О! о! —

последнее, что я помню, это белки,
бесстрастно-белые, как изоляторы,
на страшном, орущем, огненном лице...

«...Мой друг, растает ваш глянсе...»

Париж. Друзья. Сомкнулись стены.
А за окном летят в веках
мотоциклисты
в белых шлемах,
как дьяволы в ночных горшках.

1963





* * *

Тьма ежей любого роста
мне иголками грозила.
Я на дух надел наперсток.
Жмет, конечно. Но красиво.





СТАРЫЙ ГОРОД

Давай с тобой зашторим створки
в монастыре «Шести сестер».
Крестообразною отверткой
застыл костел.

В саду не тронуты конверты.
Не дует. Не летит пыльца.
Антверпен полон антиветром.
Мысль не выветривается.

И сад, недвижимый, как и прежде,
слепыми слепками белел.
Их пустотелые одежды
хранили очертанья тел.

Обучимся обыкновенью
жить внутренне, не напоказ
в остановившемся мгновенье
неважно до иль после нас.

Чей зрячий посох ищет руку?
О чем тоскует трансвестит?
Антропософская разлука
в нас раковиною гудит.





ЧЕРНЫЕ ПРОСТЫНИ

Покупайте черные простыни,
анархисты любви!
В постмалевичевском постере
белокурую прядь продери.
Замаячат в окошке над площадью
черноплодные фонари.

Экономьте рубашки нижние.
Оптимизм — цвета пропасти.
Конкурируя с чернокожием,
расстилайте черные простыни.

Не поняв, назовут тебя
проституткой советские дилетанты.
Улетай, полуночная профи
непроглядного дельтаплана!

А вы спали на Постистории?
Вообще, вы летали? На противне

подгорали ль орешки? Попробуйте
засыпать на открытом люке
меж созвездий разлуки...

Пред квадратной Малевича тайной
современница выпалит:
«Почему он квадратный?
Потому что двуспальный!
Односпальный — параллелепипед...»

Плыть по-черному. Жить без просыпа.
Пока гости не облевали,
выставляйте черные простыни
на Венецианской Бьеннале.





ПОРТРЕТ ПЛИСЕЦКОЙ

В ее имени слышится плеск аплодисментов.
Она рифмуется с плакучими лиственницами,
с персидской сиренью,
Елисейскими полями, с Пришествием.
Есть полюса географические, температурные,
магнитные.

Плисецкая — полюс магии.

Она ввинчивает зал в неистовую воронку
своих тридцати двух фуэте,
своего темперамента, ворожит,
закручивает: не отпускает.

Есть балерины тишины, балерины-снежины —
они тают. Эта же какая-то адская искра.

Она гибнет — полпланеты спалит!

Даже тишина ее — бешеная, орущая тишина
ожидания, активно напряженная тишина
между молнией и громовым ударом.

Плисецкая — Цветаева балета.

Ее ритм крут, взрывен.

Жила-была девочка — Майя ли, Марина ли —
не в этом суть.

Диковатость ее с детства была пуглива
и уже пугала. Проглядывалась сила
предопределенности ее. Ее кормят манной
кашей, молочной лапшой, до боли
затягивают в косички, втискивают первые
буквы в косые клетки; серебряная монетка,
которой она играет, блеснув ребрышком,
закатывается под пыльное брюхо буюфета.
А ее уже мучит дар ее — неясный самой
себе, но нешуточный.

«Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью в мире мер?!»

Мне кажется, декорации «Раймонды»,
этот душный, паточный реквизит,
тяжеловесность постановки кого хочешь
разъярит. Так одиноко отчаян ее танец.
Изумление гения среди ординарности —
это ключ к каждой ее партии.
Крутая кровь закручивает ее. Это
не обычная эоловая фея —

«Другие — с очами и с личиком светлым,
А я-то ночами беседую с ветром.
Не с тем — италийским
Зефиром младым, —
С хорошим, с широким,
Российским, сквозным!»

Впервые в балерине прорвалось нечто —
не салонно-жеманное, а бабье, нутряной
воплъ.

В «Кармен» она впервые ступила
на полную ступню.

Не на цыпочках пуантов, а сильно,
плотски, человечьи.

«Полон стакан. Пуст стакан.
Гомон гитарный, луна и грязь.
Вправо и влево качнулся стан...
Князем — цыган. Цыганом — князь!»
Ей не хватает огня в этом половинчатом
мире.

«Жить приучил в самом огне.
Сам бросил в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне.
Мой милый, что тебя я сделала?»

Так любит она.

В ней нет полумер, шепотка, компромиссов.
Лукав ее ответ зарубежной корреспондентке.

— Что вы ненавидите больше всего?

— Лапшу! —

И здесь не только зареванная обида детства.

Как у художника, у нее все нешуточное.

Ну да; конечно, самое отвратное —
это лапша,

это символ стандартности,
разваренной бесхребетности, пошлости,
склоненности, антидуховности.

Не о «лапше» ли говорит она в своих
записках:

«Люди должны отстаивать свои
убеждения...

... только силой своего духовного «я».

Не уважает лапшу Майя Плисецкая!

Она мастер.

«Я знаю, что Венера — дело рук,
Ремесленник — я знаю ремесло!»

Балет рифмуется с полетом.

Есть сверхзвуковые полеты.

Взбешенная энергия мастера — преодоление
рамок тела, когда мускульное движение

переходит в духовное.

Кто-то договорился до излишнего
«техницизма»

Плисецкой,
до ухода ее «в форму».

Формалисты — те, кто не владеет
формой. Поэтому форма так заботит их,
вызывает зависть в другом. Вечные зубрилы,
они пыhtят над единственной рифмишкой
своей, потеют в своих двенадцати фуэте.

Плисецкая, как и поэт, щедра, перенасыщена
мастерством. Она не раб формы.

«Я не принадлежу к тем людям, которые
видят за густыми лаврами успеха девяносто
пять процентов труда и пять процентов
таланта».

Это полемично.

Я знал одного стихотворца, который брался
за пять человеко-лет обучить любого
стать поэтом.

А за десять человеко-лет — Пушкин?
Себя он не обучил.

Мы забыли слова «дар», «гениальность»,
«озарение». Без них искусство — нуль.
Как показали опыты Колмогорова,

не программируется искусство, не выводятся
два чувства поэзии. Таланты
не выращиваются квадратно-гнездовым
способом. Они рождаются. Они национальные
богатства — как залежи радия, сентябрь
в Сигулде или целебный источник.
Такое чудо, национальное богатство —
линия Плисецкой.

Искусство — всегда преодоление барьеров.
Человек хочет выразить себя иначе,
чем предопределено природой.
Почему люди рвутся в стратосферу? Что,
дел на Земле мало?
Преодолевается барьер тяготения. Это
естественное преодоление естества.
Духовный путь человека — выработка,
рождение нового органа чувств, повторяю,
чувства чуда. Это называется искусством.
Начало его в преодолении извечного способа
выражения.

Все ходят вертикально, но нет, человек
стремится к горизонтальному полету.
Зал стонет, когда летит тридцатиградусный
торс... Стравинский режет глаз
цветастостью. Скрябин пробовал цвета на слух.

Рихтер, как слепец, зажмурясь и втягивая ноздрями, нащупывает цвет клавишами. Ухо становится органом зрения. Живопись ищет трехмерность и движение на статичном холсте.

Танец — не только преодоление тяжести.

Балет — преодоление барьера звука.

Язык — орган звука? Голос? Да нет же; это поют руки и плечи, щебечут пальцы, сообщая нечто высочайше важное, для чего звук груб.

Кожа мыслит и обретает выражение.

Песня без слов? Музыка без звуков.

В «Ромео» есть мгновение,

когда произнесенная тишина, отомкнувшись от губ юноши, плывет, как воздушный шар, невидимая, но осязаемая,

к пальцам Джульетты.

Та принимает этот

материализовавшийся звук, как вазу,

в ладони, ощупывает пальцами.

Звук, воспринимаемый осязанием! В этом балет адекватен любви.

Когда разговаривают предплечья, думают голени, ладони автономно сообщают друг другу что-то без посредников.

Государство звука оккупировано движением.

Мы видим звук. Звук — линия.
Сообщение — фигура.

Параллель с Цветаевой не случайна.
Как чувствует Плисецкая стихи!
Помню ее в черном на кушетке,
как бы оттолкнувшуюся от слушателей.
Она сидит вполоборота, склонившись, как
царскосельский изгиб с кувшином. Глаза ее
выключены. Она слушает шей. Модильянистой
своей шей, линией позвоночника, кожей
слушает. Серьга дрожит, как дрожат ноздри.
Она любит Тулуз-Лотрека.

Летний настрой и отдых дают ей
библейские сбросы Севана и Армении,
костер, шашлычный дымок.
Припорхнула к ней как-то посланница
элегантного журнала узнать о рации «примы».

Ах, эти эфирные эльфы, эфемерные сильфиды
всех эпох! «Мой пеньюар состоит из
одной капли шанели». «Обед балерины —
лепесток розы»...

Ответ Плисецкой громоподобен и гомеричен.
Так отвечают художники и олимпийцы.
«Сижу не жрамши!»

Мощь под стать Маяковскому.
Какая издевательская полемичность.

Я познакомился с ней в доме, где все говорит о Маяковском. На стенах ухмылялся в квадратах автопортрет Маяковского. Женщина в сером всплескивала руками. Она говорила о руках в балете. Пересказывать не буду. Руки метались и плескались под потолком, одни руки. Ноги, торс были только вазочкой для этих обнаженно плескавшихся стеблей. В этот дом приходиться опасно. Вечное командорское присутствие Маяковского сплющивает ординарность. Не всякий выдерживает такое соседство.

Майя выдерживает. Она самая современная из наших балерин.

Это балерина ритмов XX века. Ей не среди лебедей танцевать, а среди автомашин и лебедок! Я ее вижу на фоне чистых линий Генри Мура и капеллы Роншан.

«Гений чистой красоты» — среди издерганного суматошного мира.

Красота очищает мир.

Отсюда планетарность ее славы.

Париж, Лондон, Нью-Йорк выстраивались в очередь за красотой, за билетами на Плисецкую.

Как и обычно, мир ошеломляет художник, ошеломивший свою страну.

Дело не только в балете. Красота спасает мир. Художник, создавая прекрасное, преобразует мир, создавая очищающую красоту. Она ошеломительно понятна на Кубе и в Париже. Ее абрис схож с летящими египетскими контурами.

Да и зовут ее кратко, как нашу сверстницу в колготках, и громоподобно, как богиню или языческую жрицу, — Майя.

«Что делать страшной красоте, присевшей на скамью сирени!»





Б. ПАСТЕРНАК

Недоказуем постулат.
Пасть по-плисецки на колени,
когда она в «Анне Карениной»,
закутана в плиссе-гофре,
в гордынь Кардена и Картье,
в самоубийственном смиренье
лиловым пеплом на костре
пред чудищем узкоколейным
о смертном молит колесе?

Художник — даже на коленях —
победоноснее, чем все.

Валитесь в ноги красоте.

Обезоруживает гений —
как безоружно каратэ.

1966



ИСПОВЕДЬ «СЫРИХИ»

— Почему ты рыдаешь, «сыриха
со слезой»?

— Чай, со сцены влетела соринка.
Мисс Успех — это я, дорогой.

Я тебе расскажу о «сырихе».
Так актрисы поклонниц зовут.
Мы загадываем, как ассирийки,
судьбы их сокровенных минут.

Все продажно — в душе и в ширинке.
Бескорыстно лишь в нашем бреду
абсолютное сердце «сырихи»,
что колотится в темном ряду.

Ко в кармашек почтового ящика
сунул ландыш лесной?
Кем Мадонна была кормящая —
не сырихой ли со слезой?

Мы звезду заряжаем из кресел
у соперников на виду.
Ну, а скурвится если —
отхлестаем букетом звезду.

В эротическом сиром галопе
у подъездов, меж рыхлой пурги,
я и мужа нашла на галерке.
С ним играли в четыре руки.

И когда замолкает Рихтер.
Зал затих. И выходит фальцет.
Мы тогда начинаем, «сырихи»,
для ладоней коронный концерт.

Чтоб в ладошке, как запятая,
тайный свет полминуты не гас...
Вы такого не испытали?
Жаль мне вас.

Тайна тайна. И тихо тихо.
На галерке напряжена
затаившеюся рысикой
театральная тишина.

Гениальная женщина зала,
утомленная уровнем цен,
по дыханию понимала
гениальную женщину сцен.

Абсолютна минута немая
двух сердец, когда выключен свет, —
понимание, пониманье...
В жизни смысла иного нет.

И единственная награда —
тайный взгляд, недоступный для лож,
от которого темному ряду
передается волшебная дрожь.

Тайный знак изможденному сердцу,
слаще кайфа на тысячу лет,
по которому следует в среду
так же взять на контроле билет...

Нас на улице, как любовниц,
не узнают, смущенье скрыв...
Трепещите, омовцы!
«Сырихи» идут на прорыв.

Друг продаст. Позабудет родина.
Понимания на найду.
Но «сырихино» сердце сиротино
заколотится в темном ряду.





НЕБА БЫ...

В магазин зашел: «Алло!
Дайте неба полкило».

Продавцов сказали двое:
«С небом перебои.
Нету черного, ночного,
белого нет, облачного,
ни розового, ни голубого,
ни серого — ну никакого,
нету неба бородинского!..»
«Тоже мне — князь Андрей».
«Гражданин, не надо диспутов!
Не толпитесь у дверей».

«Дома глазки голубые
Ждут, чтоб неба им добыли.
Если неба не давать —
они будут затухать.
Опусти, небена мать».

Продавщица ответила: «Сочувствую.
Вместо хлеба нам насущного
отпустить могу вам смога.
Но немного».

«Мне хотя бы без изюма,
И без звезд.
Я ее люблю безумно!
Разрешите встану в хвост».

«Ваши бы заботы мне бы...
В мировой голубизне
строить общество без неба
нелегко в одной стране.
В Марксе нет социализма.
Вода кончилась в воде.
Бензина самоубийце
нету. Неба нет нигде.
А в авоське — как кроссворд.
Угадай, из чего торт?»

«Нашенским без неба — финиш.
Даже в тюрьме
пайки синенькие видишь
четвертушками в окне.

Мне хотя бы ломтик надо,
чтобы глазки зацвели.
Мне сказали, из Канады
тонну неба завезли».

Продавец сказал любезно:
«Страна наша безнебесна.
Где работаешь, дебил?
Сам ты небо задымил».

Человек ушел без неба
в безнебесные места.
У моста слепые требуют:
«Подайте неба, ради Христа».





* * *

Читаю небо, став душою зорче.

«Я + Ты» — написано окрест.

Окончив труд, неграмотные зодчие
ставили в небе крест.

«Ястреб + облако» — написано над местностью.

Гора + город. Даль + даль.

+ золотая неизвестность,

+ просветленная печаль.

А к вечеру Луна + Солнце,
подчеркнутые линией хлебов.

«Я + Ты» — стоит над горизонтом.

«Небо + Я = любовь».





СКРЫМТЫМНЫМ

«Скрымтымным» — это пляшут омичи?
скрип темниц? или крик о помощи?
или у Судьбы есть псевдоним,
темная ухмылочка — скрымтымным?

Скрымтымным — то, что между нами.
То, что было раньше, вскрыв, темним.
«Ты-мы-ыы...» — с закрытыми глазами
в счастье стонет женщина: скрымтымным.

Скрымтымным — языков праматерь.
Глупо верить разуму, глупо спорить с ним.
Планы прогнозируем по сопромату,
но часто не учитываем скрымтымным.

«Как вы поживаете?» — «Скрымтымным...»
«Скрымтымным!» — «Слушаюсь. Выполним».
Скрымтымным — это не силлабика.
Лермонтов поэтому непереводем
Лучшая Марина зарыта в Елабуге.
Где ее могила? — скрымтымным...

А пока пляшите, пьяны в дым:
«Шагадам, магадам, скрымтымным!»
Но не забывайте — рухнул Рим,
не поняв приветствия: «Скрытымным».

1970





СОН

Я шел по берегу Оби,
я селезню шел параллельно.
Я шел по берегу любви.
И вслед деревья мне ревели.

И параллельно плачу рек,
лишенных лаянья собачьего,
финально шел XX век,
крестами ставни заколачивая.

И в городах и хуторах
стояли Инги и Устиньи,
их жизни, словно вурдалак,
слепая высосет пустыня.

Кричала рыба из глубин:
«Возьми детей моих в котомку,
но только реку не губи!
Оставь хоть струйку для потомства».

Я шел меж сосен голубых,
фотографируя их лица,
как жертву, прежде чем убить,
фотографирует убийца.

Стояли русские леса,
чуть-чуть подрагивая телом.
Они глядели мне в глаза,
как человек перед расстрелом.

Дубы глядели на закат.
Ни Микеланджело, ни Фидий,
никто их краше не создаст.
Никто их больше не увидит.

«Окстись, убивец-человек!» —
кричали мне, кто были живы.
Через мгновение их всех
погубят ядерные взрывы.

«Окстись, палач зверей и птиц,
развившаяся обезьяна!
Природы гениальный смысл
уничтожаешь ты бездарно»

И я не мог найти Тебя
среди абсурдного пространства,
и я не мог найти себя,
не находил, как ни старался.

Я понял, что не будет лет,
не будет века двадцать первого,
что времени отныне нет.
Оно на полуслове прервано...

Земля пустела, как орех.
И кто-то в небе пел про это:
«Червь, человек, короед,
какую ты сожрал планету!»





БАЛЛАДА

Я сегодня приду и спокойно скажу,
что двадцатый окончился век.
Свои книги сожгу, твои платья сложу,
«Мы свободны, — скажу, — смена вех».

Отключится вода, и включится звезда,
и забьешься ты в пляске своей.
Частым жабрам под стать будут воздух хва-
тать треугольники жадных локтей.

Посреди темноты заскользит, словно шрам,
след резинки над животом. Я увижу, что ты —
пополам, пополам — в этом веке и веке другом.

Обернусь я к гостям — гости все пополам,
перерезаны в пояс столом.
Каждый в веке своем мы по пояс живем,
под столом — в измеренье другом.

«Разве был этот век?» — ты ответишь
под смех. Современники дискотек будут
в пол нам стучать и напомнят опять, что
бессмертен XX век.

1980





РУССКАЯ ПЕСНЯ

Приедешь бледная, совсем не пьяная,
моя сердечная диссидентка,
глаза туманные, звезда обманная,
Непонимание. Misunderstanding.

А там за стенкою Москва временная.
Misunderstanding. Непонимание.
Умчишь в Германию. И там без денег —
непонимание, misunderstanding.

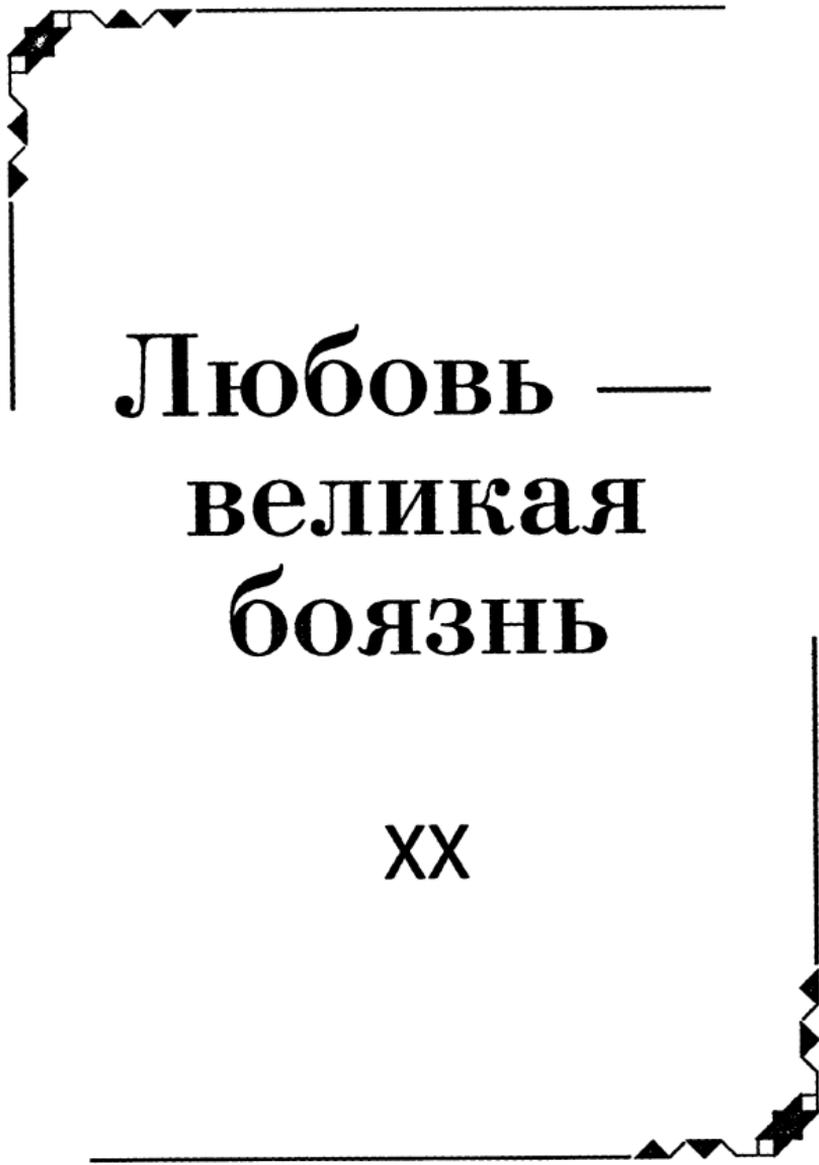
Не понимают тебя соседи.
Не понимают друзья и родичи.
Пришло сердечное диссидентство,
сменив политику на эротику.

Не водки просишь — вина десертного,
а то Бергсона в наш мат вмонтируешь —
возмущает. Misunderstanding.

Живешь с включенным кондиционером.
В отпаде денди наши романские.
Непониманье — канцерогенно,
пойми, смертельно непонимание.

Стерилизуйте еду и ванную!
Мойте руки после аплодисментов!
Свеча заздравная поминальную
не понимает.
Misunderstanding.





**Любовь —
великая
боязнь**

XX

НО СТАЛЬ ГИЯН УСАЛЬВАДОР ДАЛЛИПОДАБЬ
У ДЕННИЕНЕГ...
В. СТАЛИН ГИТЛЕР
МОНТО



«ОКТЯБРЬСКИЙ»

Четыре тыщи душ мерцают вроде мошек.
Смущает странный свет наш нищенский общак.
Четыре тыщи лиц я обдаю, как мойщик.
Читаю на мощах.

Читаю на мощах времен кардиограмму.
Шаги мои трещат
От радиации погубленного храма.
Мы строим на мощах.

Построен на мощах «Октябрьский» зал концертный.
Рыдает валторнист.
Фундамент сохранив, снес Греческую церковь
Хрущев-волюнтарист.

При имени глупца ты нос смешливо морщишь.
Зал искрится, как брют.
Скажу я проще — будущие мощи
священнодействуют:



РЕКВИЕМ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ

За упокой Высоцкого Владимира
колени преклоненная Москва,
разгладивши битловки, заводила
его потусторонние слова.

Владимир умер в 2 часа.
И бездыханно
стояли полные глаза,
как два стакана.

А над губой росли усы
пустой утехой,
резинкой врезались трусы,
разит аптекой.

Спи, шансонье Всея Руси,
отпетый.
Ушел твой ангел в небеси
обедать.

Володька,
если горлом кровь,

Володька,
когда от умных докторов
воротит,
а баба, русский журавель,
в отлете,

орет за тридевять земель:
«Володя!»

Ты шел закатною Москвой,
как богомаз мастеровой,
чуть выпив,
шел популярней, чем Пеле,
с беспечной челкой на челе,
носил гитару на плече,
как пару нимбов.
(Один для матери — большой,
золотенький,
под ним для мальчика — меньшей...)
Володя!..

За этот голос с хрипотцой,
дрожь сводит,
отравленная хлеб-соль
мелодий,
купил в валютке шарф цветной,
да не походишь.
Спи, русской песни крепостной, —
свободен.

О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе —
таков мессия.

А в Склифосовке филиал
Евангелия.

И Воскрешающий сказал:
«Закреть едальники!»

Твоею песенкой ревя
под маскою,
врачи произвели ре-
нимацию.

Вернулась снова жизнь в тебя.
И ты, отудобев,
нам говоришь: «Вы все — туда.
А я — оттуда!..»

Гремите, оркестры,
Козыри — крести.
Высоцкий воскресе.
Воистину воскресе!





**ПОХОРОНЫ
ГОГОЛЯ
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА**

Завещаю тела моего не погребать
до тех пор, пока не покажутся
явные признаки разложения.
Упоминаю об этом потому, что
уже во время самой болезни на-
ходили на меня минуты жизнен-
ного онемения, сердце и пульс
переставали биться...

Н.В. Гоголь. «Завещание»

1

Вы живого несли по стране!
Гоголь был в летаргическом сне.
Гоголь думал в гробу на спине:

«Как доносится дождь через крышу,
но ко мне не проникнет, шумя, —
отпеванье неясное слышу,
понимаю, что это меня.

Вы вокруг меня встали в кольцо,
наблюдая, с какою кручиной
погружается нос мой в лицо,
точно лезвие в нож перочинный.

Разве я некрофил? Это вы!
Любят похороны в России,
поминают, когда мертвы,
забывая, пока живые.

Плоть худую и грешный мой дух
под прощальные плачи волшебные
заколачивает в сундук,
отправляя назад, до востребования».

Летаргическая Нева,
летаргическая немота —
позабыть, как звучат слова...

2

«Поднимите мне веки,
соотечественники мои,
в летаргическом веке
пробудитесь от галиматьи.
Поднимите мне веки!

Разбуди меня, люд молодой,
мои книги читавший под партой,
потрудитесь понять, что со мной.
Нет, отходят попарно!

Под Уфой затекает спина,
под Одессой мой разум смеркается.
Вот одна подошла, поняла...
Нет — сморкается!

Вместо смеха открылся кошмар.
Мною сделанное — минимально.
Мне впивается в шею комар,
он один меня понимает.

Я запретный выращивал плод,
плоть живую я скрещивал с тленьем.
Помоги мне подняться, Господь,
чтоб упасть пред тобой на колени».

Летаргическая благодать,
летаргический балаган —
спать, спать, спать...

«Я вскрывал, пролетая, гроба
в предрассветную пору,
как из складчатого гриба,
из крылатки рассеивал споры.

Вскройте гроб и застыньте в снегу.
Гоголь, скорчась, лежит на боку.
Вросший ноготь подкладку прорвал сапогу.

1973—1974





* * *

Есть русская интеллигенция.
Вы думали — нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

Есть в Рихтере и Аверинцеве
земских врачей черты —
постольку интеллигенция,
поскольку они честны.

«Нет пороков в своем отечестве»,
не уважаю лесть.
Есть пороки в моем отечестве,
зато и пророки есть.

Такие, как вне коррозии,
ноздрей петербургской вздет,
Николай Александрович Козырев —
небесный интеллигент.

Воюет с извечной дурью,
для подвига рождена,
отечественная литература —
отечественная война.

Какое призванье лестное
служить ей, отдавши честь:
«Есть, русская интеллигенция!
Есть!»

1975





* * *

Пострашнее мышеловок,
за решеткою стены,
воет дом умалишенных,
санаторий сатаны.

Что же делать, что же делать,
если родина больна
и над ней в халате белом
санитарит сатана?





ПОМИЛУЙ, ГОСПОДИ...

Отпевали Детонатовича в закрытом гробу.
Как пантера сидит телекамера у оператора
на горбу.

Последнею хохмой чертовой печали иконостас,
Мария повязку черную повязала ему на глаз.
Пиратские череп и кости прикрыли зрачок его...

Упокой душу, Господи, усопшего раба Твоего.

А он отплывал пиратствовать в воды, где ждет
Харон.

Сатана или Санта-Мария встретят его паром?
Изящные череп и кости, скрещенные внизу,
как фото на будущий паспорт, лежат на его глазу.

Стилист? хулиган? двурушник? Гроб пуст.
В нем нет никого.

Упокой, Господи, душу уставшего шута Твоего.
Спасли меня в «Новом мире» когда-то, пират
пера.

А вдруг и тогда схохмили? все это теперь мура.
Земли переделкинской горсточку брошу на гроб его.

Упокой душу, Господи, духовного бомжа Твоего.

Вы выпили жизни чашу, полную денатурата.
Литература частная, вздохни по

Андрею Фанатовичу.

Успокой, Господь, нашу агрессию, гордыню мою
успокой,
успокой страну нашу грешную, не брось ее
в час такой!

Время шутить не любит. Шутник, уйдя,
подмигнул.

А вдруг не ошибся Лютер, что Богу милей
богохул

Упокой душу, Господи, усопшего Абрама Твоего.

Греховничая, кусошничая, хранит в себе
божество
интеллигенции горсточка, оставшаяся в живых...

Упокой душу, Господи, неусопших рабов Твоих.

Париж.

Сергиево Подворье. 14.03.97



ЛЕГЕНДА

Ангел смерти является за душой,
как распахнутый страшный трельяж.
В книгах старых словес
я читал, что он весь
состоял из множества глаз.
И не знал ни Христос,
ни философ Шестов —
почему он из множества глаз?

Если ж он ошибался
(отсрочен ваш час), —
улетал. Оставлял новый взгляд.
Удивленной душе
он дарил пару глаз.
Достоевский так стал, говорят.

Ты идешь по земле,
Валентин, Валентин!
Ангел матери тебя спас.

И за то наделил
тебя зреньем могил
из двенадцати тысяч пар глаз.

Ты идешь меж равнин,
новым зреньем раним.
Как мучителен новый взгляд!
Грудь не в блеске значков —
Как рубашки шерстят.

Ты ночами кричишь,
видишь корни причин.
Утром в ужасе смотришь в трельяж.





РОВ

Не тащи меня, рок,
в симферопольский ров.
Степь. Двенадцатитысячный взгляд.
Чу, лопаты стучат
благодарных внучат.
Геноцид заложил этот клад.

— Задержите лопату!
— Мы были людьми.
— На, возьми! Я пронес бриллиант.
— Ты, папаша, не надо
костьями трясти.
Сдай заначку и снова приляг.

Хорошо людям первыми
радость открыть.
Не дай бог первым вам увидеть
эту свежую яму,
где череп отрыт.
Валя! Это была твоя мать.

Это был, это был,
это был, это был,
золотая и костная пыль.
Со скелета браслетку снимал нетопырь,
а другой, за рулем, торопил.

Это даль, это даль,
запредельная даль.
Череп. Ночь. И цветущий миндаль.
Инфернальный погромщик
спокойно нажал
после заступа на педаль.
Бил лопаты металл.
Кто в свой череп попал?
Но его в темноте не узнал.





* * *

Жаль, что проходит на «ура»
стихов давнишних часть.
Они написаны вчера,
вчера — то есть сейчас.

Я их писал на злобу дня,
писал я, осерчав.
Клянут меня, клеймят меня —
вчера, как и сейчас.

Они застыли в злобу лет.
К чертям бы им пора!
Конца их преступленьям нет
сейчас, как и вчера.

Стих и не плох, но не дай бог,
что персонаж пера
вдруг станет «злобою эпох»
и завтра, как вчера.

А ты садишься на окно,
коленками сучась.
Ты повстречалась мне двно,
всегда — как и сейчас.

1987





* * *

Ну почему он столько раз про ос,
сосущих ось земную, произносит?
Он, не осознавая, произнес:
«Ося...»

Поэты любят имя повторять —
«Сергей», «Владимир» — сквозь земную
осыпь.

Он имя позабыл, что он хотел сказать.
Он по себе вздохнул за тыщу лет назад:
«Ох, Осип...»





МОЛИТВА

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке —
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бассейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасенье —
с ума бы не сойти

А за оградой монастырской,
как спирт ударит нашатырный,
послегрозовые сады —
с ума бы не сойти!

Когда отчетливо и грубо
стрекозы посреди полей —
стоят, как черные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне это, человеку!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Господь, — скажу, — или Россия,
назад не отпусти!»

1970





* * *

Не отрекусь
от каждой строчки прошлой —
от самой безнадежной и продрогшей
из актрисуль.

Не откажусь
от жизни торопливой,
от детских неоправданных трамплинов
и от кощунств.

Не отступлюсь —
«Ни шагу! Не она ль за нами?» —
наверное, с заблудшими, лгунами...
Мой каждый куст!

В мой страшный час,
хотя и бредовая,
поэзия меня не предавала,
не отреклась.

Я жизнь мою
в исповедальне высказал.
Но на весь мир транслировалась исповедь.
Все признаю,

Толпа кликуш
ждет, хохоча, у двери:
«Кус его, кус!»
Все, что сказал, вздохнув, удостоверяю.

Не отрекусь.

1975





ВЫПУСТИ ПТИЦУ!

Что с тобой, крашенная, послушай?!
Модная прима с прядью плакучей,
бросишь купюру — выпустишь птицу.
Так что прыщами пошла продавщица.

Деньги на ветер, синь шебутная!
Как щебетала в клетке из тиса
та аметистовая четвертная —
«Выпусти птицу!»

Ты оскорбляешь труд птицелова,
месячный заработок свой горький
и «Геометрию» Киселева,
ставшую рыночной оберткой.

Птица тебя не поймет и не вспомнит,
люди сматерятся,
будет обед твой — булочка в полдник,
ты понимаешь? Выпусти птицу!

Птице пора за моря вероломные,
пусты лимонные филармонии,
пусть не себя — из неволи и сытости —
выпусти, выпусти...

Не понимаю, но обожаю
бабскую выходку на базаре.
«Ты дефективная, что ли, деваха?
Дура — де-юре, чудо — де-факто!»

Как ты ждала ее, красотулю!
Вымыла в горнице половицы.
Ах, не латунную, а золотую!..
Не залетела. Выпусти птицу!

Мы третьи сутки с тобою в раздоре,
чтоб разрядиться,
выпусти сладкую пленницу горя,
выпусти птицу!

В руки синица — скучная сказка,
в небо синицу!
Дело отлова — доля мужская,
женская доля — выпустить птицу!..

Наманикюренная десница,
словно крыло самолетное снизу,
в огненных знаках над рынком струится,
выпустив птицу.

Да и была ль она, вестница чудная?..
Вспыхнет на шляпе вместо гостинца,
пятнышко едкое и жемчужное —
память о птице.





ЗАПОВЕДЬ

Вечером, ночью, днем и с утра
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча.
Благодарю за священность обряда.
Враг по плечу — долгожданнее брата,
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой терраской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовешься греховною силой —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила — да это ж волжба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина.

Это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш черен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча.
Нужно, как Брумель, начать с «ни черта»
Благодарю, что не умер вчера.

Существование — будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.
Жизнь — это точно любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волжба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера».





РУССКИЕ ПОЭТЫ

Не пуля, так сплетня
их в гроб уложила,
не с песней, а с петлей
их горло дружило.

И пули свистали,
как в дыры кларнетов,
в пробитые головы
лучших поэтов.

Их свищут метели.
Их пленумы судят.
Но есть Прометеи.
И пленных не будет.

Несется в поверья
верстак под Москвой.
А я подмастерье
в его мастерской.

Свищу, как попало,
и так и сяк.
Лиха беда начало.
Велик верстак.

1957





ЛЕСНОЙ РЕГТАЙМ

С.Юрскому

Ку-ку —
миную Времени реку — *ку-ку-ку-ку-*
читаю ли Матфея и Луку,
ку-ку-ку-ку-ку-ку-
укушенный собаками бегу —
тебе не прозвонюсь через Москву —
ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-
лишь состраданье неба привлеку,
Что клен приставив пятерней к виску,
помахивая мне, как дурачку,
меня диагностирует:
«ку-ку!»

Мы все — «ку-ку» — внизу, хоть наверху
Кухарка, слей чеченскую уху! —
ку-ку-ку-ку — ушу или Ду Фу —
чужие яйца отыщи в шкафу —
кукареку! — *ку-ку-ку-ку из ху?*

Куда? Отку... Откупорь бутыл-ку...
Прейску-иску-я рашен обеску...
Ку-ку-ку-ку — подобно пузырьку,
не капай нам всемирную тоску,
окультная пичужка на суку!..
Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку...

Лишь в небе в акустическом цеху
Курехин оборвет свою строку — ку...





МАТЬ

Я отменил материнские похороны.
Не воскресить тебя в эту эпоху.

Мама, прости эти сборы повторные.
Снегом осело, что было лицом.
Я тебя отнял у крематория
и положу тебя рядом с отцом.

Падают страшные комья весенние
Новодевичьего монастыря.
Спят Вознесенский и Вознесенская —
жизнью пронизанная земля.

То, что к тебе прикасалось, отныне
стало святыней.
В сквере скамейки, Ордынка за ними
стали святыней.
Стал над березой екатерининской
свет материнский.

Что ты прошла на земле, Антонина?
По уши в ландыши влюблена,
интеллигентка в косынке Рабкрина
и ермоловская спина!

В скрежет зубовный индустрий и приму-
сов,
в мире, замешенном на крови,
ты была чистой любовью, без примеси,
лоб-одуванчик, полный любви.

Ты — незамеченная Россия,
ты охраняла очаг и порог,
беды и волосы молодые,
как в кулачок, зажимая в пучок.

Как ты там сможешь, как же ты сможешь
там без родни?
Носик смешливо больше не сморщишь
и никогда не поправишь мне воротник.

Будешь ночами будить анонимно.
Сам распахнется ахматовский томик.
Что тебя мучает, Антонина,
Тоня?

Рюмка стоит твоя после поминок
с корочкой хлебца на сорок дней.

Она испарилась наполовину.
Или вправду притронулась к ней?

Не попадает рифма на рифму,
но это последняя связь с тобой!
Оборвалась. Я стою у обрыва,
малая часть твоей жизни земной.





* * *

Единственно живой средь неживых,
свидетелем он Рая стал и Ада,
обитель справедливую Расплаты
он, как анатом, все круги постиг.
Он видел Бога. Звездопадный стих
над родиной моей рыдал набатно.
Певцу нужны небесные награды.
Ему не надо почестей людских.
(Я говорю о Данте. Это он
не понят был. Я говорю о Данте.)
Он озверевшей банде был смешон.
Непониманье гения — закон.
О, дайте мне его прозренье, дайте!
И я готов, как он, быть осужден.

1975





* * *

Кончину чую. Но не знаю часа.
Плоть ищет утешенья в кутеже.
Жизнь плоти опостылела душе.
Душа зовет отчаянную чашу!
Мир заблудился в непролазной чаще
среди ядовитых гадов и ужей.
Как черви, лезут сплетни из ушей.
И Истина сегодня — гость редчайший.
Устал я ждать. Я верить устаю.
Когда ж взойдет, Господь, что Ты посеял?
Нас в срамоте застанет смерти час.
Нам не постигнуть истину Твою.
Нам даже в смерти не найти спасенья.
И отвернутся ангелы от нас.

1975





МАСЛИЧНАЯ ВЕТВЬ

На склоне
лет земных
гляжу с горы Масличной.
Это я, Господи!
Петуший крик
стал куполом яичным,
это Ты, Господи.
Облаянный,
в парах бензина —
это я, Господи.
В кофейных парусах
Ерусалима —
это Ты, Господи.
Отцовский голос слышу
над долиной.
И чаша пропасти
неотвратима —
это Ты, Господи.
Я выполнил, Отец,
твою программу.

Но сколько во мне теплого
и костного...

Я мел душою,
как метлой поганой.

Прими, Господи,
социалистического
пилигрима.

Это мы, Господи,
с моим народом
веру погребли мы
и сорим в космосе.

На склоне лет земных гляжу
с горы Масличной —
это я, Господи! — это ты, Господи!

Маслины
слепли от машины.
И куполами
в сумерках круглы
объятая русской Магдалины
сомкнулись
над коленями горы.

И страшный путь
шел в небо прогибаясь,
как ванты Крымского моста.
И вьелась в камни, спотыкаясь,
тень от креста.

Путь жизни близок
к высшей точке.
И листики маслин,
размером точно в эти строчки.
записывали за ним.

Я — ветка Божья
северной долины,
где избы горбятся.

Присутствие любви
неодолимой —
это Ты, Господи.

Где ошибался, волком жил
с волками —
это я, Господи.
Все, что я спел
от «а до я» стихами —
это Ты, Господи.

*Иерусалим. Масличная гора
26 октября 1989 г.*





АВЕ, ОЗА...

Аве, Оза...

Ночь или жильё,
псы ли воют, слизывая слезы,
слушаю дыхание твое.

Аве, Оза...

Оробело, как вступают в озеро,
разве знал я, циник и паяц,
что любовь — великая боязнь?

Аве, Оза...

Страшно — как сейчас тебе одной?
Но страшнее — если кто-то возле.
Черт тебя сподобил красотой!

Аве, Оза!

Вы, микробы, люди, паровозы,
умоляю — бережнее с нею.
Дай тебе не ведать потрясений.

Аве, Оза...

Противоположности светло.
Дай возьму всю боль твою и горечь.
У магнита я — печальный полюс,
ты же — светлый. Пусть тебе светло.

Дай тебе не ведать, как грущу.
Я тебя не огорчу собою.
Даже смертью не беспокою.
Даже жизнью не отягощу.

Аве, Оза. Пребывай светла.
Мимолетное непрерывимо.
Не укоряю, что прошла.
Благодарю, что приходила.

Аве, Оза...

1

Женщина стоит у циклотрона —
стройно,
не отстегнув браслетки,
вся изменяясь смутно,
с нами она — и нет ее,
прислушивается к чему-то,
тает, ну как дыхание,
так за нее мне боязно!

Поздно ведь будет, поздно!
Рядышком с кадыками
циклотрона 3-10-40.

Я знаю, что люди состоят из частиц,
как радуги из светящихся пылинок
или фразы из букв.

Стоит изменить порядок, и наш
смысл меняется.

Говорили ей, — не ходи в зону!
А она...

«Зоя, — кричу я, — Зоя!..»

Но она не слышит.

Она ничего не понимает.

Может, ее называют Оза?

2

Не узнаю окружающего.

Вещи остались теми же, но частицы их, мигая,
изменяли очертания, как лампочки
иллюминации на Центральном телеграфе.

Связи остались, но направление их изменилось.

Мужчина стоял на весах.

Его вес оставался тем же. И нос был на месте,
только вставлен внутрь, точно полный чехол
кинжала. Неумещающий кончик торчал

из затылка.

Деревья лежали навзничь, как ветвистые озера, зато тени их стояли вертикально, будто их вырезали ножницами.

Они чуть погромыхивали от ветра, вроде серебра от шоколада.

Глубина колодца росла вверх, как черный сноп прожектора. В ней лежало утонувшее ведро и плавали кусочки тины.

Из трех облачков шел дождь.

Они были похожи на пластмассовые гребенки с зубьями дождя. (У двух зубья торчали вниз, у третьего — вверх.)

Ну и рокировочка! На место ладьи генуэзской башни встала колокольня Ивана Великого.

На ней, не успев растаять, позвякивали сосульки.

Страницы истории были перетасованы, как карты в колоде. За индустриальной революцией следовало нашествие Батые.

У циклотрона толпилась очередь. Проходили профилактику. Их разбирали и собирали. Выходили обновленными.

У одного ухо было привинчено ко лбу
с дырочкой
посредине вроде зеркала отоларинголога.

«Счастливчик, — утешали его. — Удобно

для замочной скважины! И видно и слышно одновременно».

А эта требовала жалобную книгу.

«Сердце забыли положить, сердце!»

Двумя пальцами он выдвинул ей грудь, как правый ящик письменного стола, вложил что-то и захлопнул обратно. Экспериментщик
Ъ пел, пританцовывая.

«Е9 — Д4, — бормотал экспериментщик.

— О, таинство творчества! От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Важно сохранить систему. К чему поэзия? Будут работы. Психика — это комбинация аминокислот...

Есть идея! Если разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое, как половинку яичной скорлупы...

Конечно, придется спилить Эйфелеву башню, чтобы она не проткнула поверхность в районе Австралийской низменности.

Правда, половина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость эксперимента!..»

И только на сцене Президиум секции квазиискусства сохранял порядок. Его члены сияли, как яйца в аппарате для просвечивания яиц.

Они были круглы и поэтому одинаковы со всех сторон. И лишь у одного над столом вместо туловища торчали ноги подобно трубам перископа.

Но этого никто не замечал.

Докладчик выпятил грудь. Но голова его, как у целлулоидного пупса, была повернута вперед затылком. «Вперед, к новому искусству!» — призывал докладчик. Все соглашались.

Но где перед?

Горизонтальная стрелка указателя (не то «туалет», не то «к новому искусству!») торчала вверх на манер десяти минут третьего. Люди продолжали идти целеустремленной цепочкой по ее направлению, как по ступеням невидимой лестницы. Никто ничего не замечал.

НИКТО

Над всем этим, как апокалипсический знак, горел плакат: «Опасайтесь случайных связей!» Но кнопки были воткнуты острием вверх.

НИЧЕГО

Иссиня-черные брови были нарисованы не над,
а под глазами, как тени от карниза.

НЕ ЗАМЕЧАЛ.

МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?

3

Ты мне снишься под утро,
как ты, милая, снишься!..
Почему-то под дулами,
наведенными снизу.

Ты летишь Подмосковьем,
хороша до озноба,
вся твоя маскировка —
30 метров озона!

Твои миги сосчитаны
наведенным патроном,
30 метров озона —
вся броня и защита!

В том рассвете болотном,
где полет безутешен,
но пахнуло полетом,
и — уже не удержишь.

Дай мне, Господи, крыльев
не для славы красивой —
чтобы только прикрыть ее
от прицела трясины.

Пусть еще погуляется
этой дуре рискованной,
хоть секунду — раскованно.
Только пусть не оглянется.

Пусть хоть ей будет счастье
в доме с умным сынишкой.
Наяву ли сейчас ты?
И когда же ты снишься?

От утра ли до вечера,
в шумном счастье заверчена,
до утра? поутру ли? —
за секунду от пули.

4

А может, милый друг, мы впрямь
сентиментальны?
И душу удалят, как вредные миндалины?
Ужели и хорей, серебряный флейтист,
погибнет, как форель погибла у плотин?

Ужели и любовь не модна, как камин?
Аминь?

Но почему ж тогда, заполнив Лужники,
мы тянемся к стихам, как к травам от цинги?
И радостно и робко в нас души расцветают...
Роботы,
роботы,
роботы
речь мою прерывают.

Толпами автоматы
топают к автоматам,
сунут жетон оплаты,
вытянут сок томатный,
некогда думать, некогда,
в офисы — как вагонетки,
есть только брутто, нетто —
быть человеком некогда!

Вот мой приятель-лирик:
к нему забежала горничная...
Утром вздохнула горестно, —
мол, так и не поговорили!

Ангел, об чем претензии?
Провинциалочка некая!
Сказки хотелось, песни?
Некогда, некогда, некогда!

Что там в груди колотится
пойманной партизанкою?
Сердце, вам безработица.
В мире — роботизация.

Ужас! Мама,
роди меня обратно!..

Обратно — к истокам неслись реки.
Обратно — от финиша к старту задним
ходом неслись мотоциклисты.
Баобабы на глазах, худея, превращались
в прутики саженцев — обратно!
Пуля, вылетев из сердца Маяковского,
пролетев прожженную дырочку на рубашке,
юркнула в ствол маузера 4-03986, а тот,
свернувшись улиткой, нырнул в ящик стола...

...Твой отец историк. Он говорит,
что человечество
имеет обратный возраст. Оно идет
от старости к молодости.
Хотя бы средневековье. Старость.
Морщинистые стены инквизиции.
Потом Ренессанс — бабье лето человечества.
Это как женщина, красивая, все познавшая,
пирует среди зрелых плодов и тел.
Не будем перечислять надежд, измен,
приключений XVIII века, задумчивой
беременности XIX...
А начало XX века —
бешеный ритм революции!..
«Мы — первая любовь земли...»

«Я думаю о будущем, — продолжает историк, —
когда все мечты осуществляются.
Техника в добрых руках добра.
Бояться техники?
Что же, назад в пещеру?..»
Он седой и румяный.
Ему улыбаются дети и собаки.

5

А не махнуть ли на море?

6

В час отлива возле чайной
я лежал в ночи печальной,
говорил друзьям
об Озе и величье бытия,
но внезапно черный ворон
примешался к разговорам,
вспыхнув синими очами,
он сказал:
«А на фига?!»

Я вскричал: «Мне жаль вас, птица,
человеком вам родиться б,

счастье высшее трудиться,
полпланеты раскроя...»
Он сказал: «А на фига?!»

«Будешь ты, — великий ментор,
бог машин, экспериментов,
будешь бронзой монументов
знаменит во все края...»
Он сказал: «А на фига?!»

«Уничтожив олигархов,
ты настроишь агрегатов,
демократией заменишь
короля и холуя...»
Он сказал: «А на фига?!»

Я сказал: «А хочешь — будешь
спать в заброшенной избушке,
утром пальчики девичьи
будут класть на губы вишни,
глушь такая, что не слышна
ни хвала и ни хула...»

Он ответил: «Все — мура,
раб стандарта, царь природы,
ты свободен без свободы,
ты летишь в автомашине,
но машина — без руля...
Оза, Роза ли, стервоза —
как скучны метаморфозы,

в ящик рано или поздно...
Жизнь была — а на фига?!»

Как сказать ему, подонку,
что живем не чтоб подохнуть, —
чтоб губами тронуть чудо
поцелуя и ручья!
Чудо жить — необъяснимо.
Кто не жил — что спорить с ними?!

Можно бы — да на фига?

7

А тебе семнадцать. Ты запыхалась после
гимнастики. И неважно, как тебя зовут.
Ты и не слышала о циклотроне.
Кто-то сдуру воткнул на приморской
набережной два ртутных фонаря.
Мы идем навстречу.
Ты от одного, я от другого.
Два света бьют нам в спину.
И прежде, чем встречаются наши руки,
сливаются наши тени — живые, теплые,
окруженные мертвой белизной.
Мне кажется, что ты все время идешь
навстречу!
Затылок людей всегда смотрит в прошлое.

За нами, как очередь на троллейбус,
стоит время.

У меня за плечами прошлое, как рюкзак,
за тобой — будущее. Оно за тобой шумит,
как парашют.

Когда мы вместе — я чувствую, как из
тебя в меня переходит будущее, а в тебя —
прошлое, будто мы песочные часы.

Как ты страдаешь от пережитков
будущего!

Ты резка, искренна. Ты поразительно
невежественна.

Прошлое для тебя еще может измениться
и наступать. «Наполеон, — говорю я, — был
выдающийся государственный деятель». Ты
отвечаешь: «Посмотрим!»

Зато будущее для тебя
достоверно и безусловно.

«Завтра мы пошли в лес», — говоришь ты.
У, какой лес зашумел назавтра! До сих пор у
тебя из левой туфельки не вытряхнулась
сухая хвойная иголка.

Твои туфли остроносые — такие уже не
носят. «Еще не носят», — смеешься ты.

Я пытаюсь заслонить собой
прошлое, чтобы ты никогда не разглядела
майданеков и инквизиции.

Твои зубы розовы от помады.

Иногда ты пытаешься
подладиться ко мне.

Я замечаю, что-то мучит тебя. Ты что-то
ерзаешь. «Ну, что ты?»

Освобождаясь, ты, довольная,
выпаливаешь, как на иностранном языке:
«Я получила
большое эстетическое удовольствие!
А раньше я тебя боялась... А о чем ты
думаешь?..»

МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?

8

Выйду ли к парку, в море ль плыву —
туфелька пара стоит на полу.

Левая к правой набок припала,
их не поправят — времени мало.

В мире не топлено, в мире ни зги,
вы еще теплые, только с ноги,

в вас от ступни потемнела изнанка,
вытерлось золото фирменных знаков...

Красные голуби просо клюют.
Кровь кружит голову — спать не дают!

Выйду ли к пляжу — туфелька пара,
будто купальщица в море пропала.

Где ты, купальщица? Вымыты пляжи.
Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?

...В мире металла, на черной планете,
сентиментальные туфельки эти,

как перед танком присели голубки —
нежные туфельки в форме скорлупки!

.....

9

Друг белокурый, что я натворил!
Тебя не опечалят строки эти?
Предполагая подарить бессмертье,
выходит, я погибель подарил.

Фельдфебель, олимпийский эгоист,
какой кретин скатился до приказа:
«Остановись, мгновенье. Ты — прекрасно»?!
Нет, продолжайся, не остановись!

Зачем стреножить жизнь, как конокрад?
Что наша жизнь?
Взаимопревращенье.
Бессмертье ж — прекращенное движенье,
как вырезан из ленты кинокадр.

Бессмертье — как зверинец меж людей.
В нем стонут Анна, Оза, Беатриче...
И каждый может, гогоча и тыча,
судить тебя и родинки глядеть.

Какая грусть — не видеться с тобой,
какая грусть увидеться в толкучке,
где каждый хлуст, вонзив клешни, толкуя,
касается тебя — какая боль!

Ты-то простишь мне боль твою и стон.
Ну, а в душе кровавые мозоли?
Где всякий сплетник, жизнь твою мусоля,
жует бифштекс над этим вот листом!

Простимся, Оза, сквозь решетку строк...
Но кровь к вискам бросается, задохшись,
когда живой, как бабочка в ладошке,
из телефона бьется голосок...

ОТ АВТОРА И КОЕ-ЧТО ДРУГОЕ

Люблю я Дубну. Там мои друзья.
Березы там растут сквозь тротуары.
И так же независимы и талы
чудесных обитателей глаза.

Цвет нации божественно оброс.
И, может, потому не дам я дуба —
мою судьбу оберегает Дубна,
как берегу я свет ее берез.

Я чем-то существую ради них.
Там я нашел в гостинице дневник.

Не к первому попала мне тетрадь:
ее командировщики листали,
острили на полях ее устало
и засыпали, силясь разобрать.

Вот чей-то почерк; «Автор-абстрактивист!»
А снизу красным: «Сам туда катись!»
«Может, автор сам из тех, кто
тешит публику подтекстом?»
«Брось искать подтекст, задрыга!
Ты смотришь в книгу — видишь фигу».

Оставим эти мудрости, дневник.
Хватает комментариев без них.

...А дальше запись лекций начиналась,
мир цифр и чей-то профиль машинальный.
Здесь реализмом трудно потрястись —
не Репин был наш бедный портретист.

А после были вырваны листы.
Наверно, мой упившийся предшественник,
где про любовь рванул, что посущественней...
А следующей фразой было:
ТЫ

10

Ты сегодня, 16-го, справляешь день рождения
в ресторане «Берлин». Зеркало там на
потолке.

Из зеркала вниз головой, как сосульки,
свисали гости. В центре потолка нежный, как
вымя, висел розовый торт с воткнутыми
свечами.

Вокруг него, как лампочки, ввернутые в
элегантные черные розетки костюмов, сияли
лысины и прически. Лиц не было видно.

У одного лысина была маленькая, как дырка на пятке носка. Ее можно было закрасить чернилами.

У другого она была прозрачна, как спелое яблоко, и сквозь нее, как зернышки, просвечивали три мысли (две черные и одна светлая — незрелая).

Проборы щеголей горели, как щели в копилках.

Затылок брюнетки с приклепленным прозрачным нейлоновым бантом полз, словно муха по потолку.

Лиц не было видно. Зато перед каждым, как таблички перед экспонатами, лежали бумажки, где кто сидит.

И только одна тарелка была белая, как пустая розетка.

«Скажите, а почему слева от хозяйки пустое место?»

«Генерала, может, ждут?» «А может, помер кто?»

Никто не знал, что там сижу я. Я невидим. Изящные денди, подходящие тебя поздравить, спотыкаются об меня, царапают вилами.

Ты сидишь рядом, но ты восторженно чужая,
как подарок в целлофане.
Модного поэта просят: «Ах, рваните чего-то
этакого! Поближе к жизни, не от мира сего...
чтобы модерново...»
Поэт подымается (вернее, опускается, как
спускают трап с вертолета). Голос его
странен,
как бы антимирен ему.

МОЛИТВА

Матьер Владимирская, единственная,
первой молитвой — молитвой последнею —
я умоляю — стань нашей посредницей.
Неумолимы зрачки Ее льдистые.
Я не кощунствую — просто нет силы.
Жизнь забери и успехи минутные,
наихрустальнейший голос в России —
мне ни к чему это!
Видишь — лежу — почернел как кикимора.
Все безысходно...
Осталось одно лишь —
грохнись ей в ноги,

Мать Владимирская,
может, умолишь, может, умолишь...

Читая, он запрокидывает лицо. И на его белом
лице, как па тарелке, горел нос, точно
болгарский перец.

Все кричат: «Браво! Этот лучше всех. Ну и
тостик!» Слово берет следующий поэт. Он
пьян вдребезину. Он свисает с потолка
вниз головой и просыхает, как полотенце.
Только несколько слов можно
разобрать из его бормотанья:
— Заонежье. Тает теплоход.
Дай мне погрузиться в твое озеро.

До сих пор вся жизнь моя —
Предозье.
Не дай бог — в Заозье занесет...

Все замолкают.

Слово берет тамада Ъ.

Он раскачивается
вниз головой, как длинный маятник.
«Тост за новорожденную».
Голос его, как из репродуктора, разносится
с потолка ресторана. «За ее новое рождение,

и я, как крестный... Да, а как зовут новорожденную?» (Никто но знает.)

Как это все напоминает что-то! И под этим подвешенным миром внизу расположился второй, наоборотный, со своим поэтом, со своим тамадой Ъ.

Они едва по касаются затылками друг друга, симметричные, как песочные часы. Но что это? Где я?

В каком идиотском измерении? Что это за потолочно-зеркальная реальность? Что за наоборотная страна?!

Ты-то как попала сюда?

Еще мгновенье, и все сорвется вниз, вдребезги, как капли с карниза!

Надо что-то делать, разморозить тебя, разбить это зеркало.

Задумавшись, я машинально глотаю бутерброд с кетовой икрой.

Но почему висящий напротив, как окорок, периферийный классик с ужасом смотрит на мой желудок? Боже, ведь я-то невидим, а бутерброд реален! Он передвигается по мне, как красный джемпер в лифте.

Классик что-то шепчет соседу.

Слух моментально пронизывает головы, как бусы на нитке.

Красные змеи языков ввинчиваются в уши соседей. Вся глядят на бутерброд.

«А нас килькой кормят!» — вопит классик. Надо спрятаться! Ведь если они обнаружат меня, кто же выручит тебя, кто же разобьет зеркало?!

Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь на красную дорожку пола. Рядом со мной, за стулом, стоит пара туфелек. Они, видимо, жмут кому-то. Левая припала к правой. (Как все напоминает что-то!) Тебя просят спеть... Начинаются танцы. Первая пара с хрустом проносится по мне. Подошвы! Подошвы! Почему все ботинки с подковами? Рядом кто-то с хрустом давит по туфелькам. Чьи-то каблучки, подобно швейной машинке, прошивают мне кожу на лице. Только бы не в глаза!..

Я вспоминаю все. Я начинаю понимать все. Роботы! Роботы! Роботы!

Как ты, милая, снишься!

«Так как же зовут новорожденную?» — надывается тамада.

«Зоя! — ору я. — Зоя!»

А МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?

Знаешь, Зоя, — теперь — без трепа.
Разбегаются наши тропы.
Стоит им пойти стороною,
остального не остановишь.

Помнишь, Зоя, — в снега застеленную,
помнишь Дубну, и ты играешь.
Оборачиваешься от клавиш.
И лицо твое опустело.
Что-то в нем приостановилось
и с тех пор невосстановимо.

Всяко было — дождь и радуги,
горизонт мне являл немилость.
Изменяли друзья злорадно.
Только ты не переменилась.

Зоя, помнишь, пора иная?
Зал, взбесившийся как свинарня...
Если жив я назло всем слухам,
в том вина твоя иль заслуга.

Когда беды меня окуривали,
я, как в воду, нырял под Ригу,
сквозь соломинку белокурую
ты дыхание мне дарила.

Километры не разделяют.
а сближают, как провода,
непростительнее, когда
миллиметры нас раздрают!

Если боли людей сближают,
то на черта мне жизнь без боли?
Или, может, беда блуждает
не за мной, а вдруг за тобою?

Нас спасающие — неспасаемы.
Что б ни выпало претерпеть,
для меня важнейшее самое —
как тебя уберечь теперь!

Ты ль меняешься? Я ль меняюсь?
И из лет
очертанья, что были нами,
опечаленно машут вслед.

Горько это, но тем не менее
нам пора... Вернемся к поэме.

12

Экспериментщик, чертова перечница,
изобрел агрегат ядерный.
Не выдерживаю соперничества.
Будьте прокляты, циклотроны!

Будь же проклята ты, громада
программированного зверья.
Будь я проклят за то, что я
слыл поэтом твоих распадов!

Мир — не хлам для аукциона.
Я — Андрей, а не имя рек.
Все прогрессы —
реакционны,
если рушится человек.

Не купить нас холодной игрушкой,
механическим соловейчиком!
В жизни главное человечность —
хорошо ль вам? красиво ль? грустно?

Проклинаю псевдопрогресс.
Горло саднит от техсловес.
Я им голос придал и душу,
будь я проклят за то, что в грядущем,

порубав таблеток с эссенцией,
спросит женщина тех времен:
«В третьем томике Вознесенского
что за зверь такой Циклотрон?»

Отвечаю: «Их кости ржавы,
отпугали, как тарантас.

Смертны техники и державы,
проходящие мимо нас.

Лишь одно на земле постоянно,
словно свет звезды, что ушла, —
продолжающееся сияние,
называли его душа.

Мы растаем и снова станем,
и неважно в каком бору,
важно жить, как леса хрустальны
после заморозков поутру.

И от ягод звенит кустарник,
В этом звоне я не умру».

И подумает женщина: «Странно!
Помню Дубну, снега с кострами.
Были пальцы от лыж красны.
Были клавиши холодны.

Что же с Зоей?»
Та, физик давняя?
До свидания, до свидания.

Отчужденно, как сквозь стекло,
ты глядишь свежо и светло.
В мире солнечно и морозно...

Прощай, Зоя.
Здравствуй, Оза!

13

Прощай, дневник, двойник души чужой,
забытый кем-то в дубненской гостинице.
Но почему, виски руками стиснув,
я думаю под утро над тобой?

Твоя наивность странна и смешна.
Но что-то ты в душе моей смешал.

Прости царапы моего пера.
Чудовищна ответственность касаться
чужой судьбы, тревог, галлюцинаций!
Но будь что будет! Гранки ждут. Пора.

И может быть, нескладный и щемящий,
придет хозяин на твой звон щенячий.
Я ничего в тебе не изменил,
лишь только имя Зоей заменил.

14

На крыльце,
очищая лыжи от снега,
я поднял голову.

Шел самолет.
И за ним
на неизменном расстоянии
летел отставший звук,
прямоугольный, как прицеп
на буксире.

Дубна — Одесса
Март 1964 г.





СОДЕРЖАНИЕ

«Стихи не пишутся — случаются...» 7

НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ

Тишины!	8
Романс	10
«Не придумано истинней мига...»	11
Сага	12
Осень в Сигулде	14
Сон	18
Пиета	19
Скульптор свечей	20
Женщина и стена	22
Ностальгия по настоящему	24
Сначала!	26
«Не возвращайтесь к былым возлюбленным...»	28
Монахиня моря	30
Водяные	32
Вдоль моря	34
Купание в росе	36
Замерли	38
Баллада-яблоня	40
«Можно и не быть поэтом...»	43

Переделкинский ключ	44
Повесть	46
Обучение винопитию	47
Автомат	49
Баллада о МО	51
Платите женщине	54
Игровая	56
А ты меня помнишь?	60
Бьют женщину	61
Осень	63
Первый лед	65
«Сидишь беременная, бледная...»	66
«В человеческом организме...»	68
Автопортрет	69
Не пишется	70
«Приди! Чтоб снова снег слепил...»	73
Художник и модель	74
Яблокопад	75
Роща	81
Васильки Шагала	83
Муравей	86
Н.У. — ресторан	88
Беловежская баллада	90
Правила поведения за столом	92
«Я — двоюродная жена...»	94
Бьет женщина	95
«Когда я придаю бумаге...»	98
Преображение	100
Свет друга	102
Вальс при свечах	104
«Мордеем, друг. Подруги молодеют...»	106

«Живу в сторожке одинокой...»	107
«Я — вселенский полудурок...»	108
«Еще немного дай побыть мне так...»	110
«Слоняюсь под Новосибирском...»	111
Рублевское шоссе	114
Две песни	115
Спасите черемуху	118
«Ну что тебе надо еще от меня?..»	120
Аренда	122
Зомби забвения	124
Кумир	127
«Нам как аппендицит...»	130

НОТЫ МЕЛАНХОЛИИ

Новорусская рулетка	135
Рок	136
Беседа в Риме	137
Монолог Мерлин Монро	139
Антимиры	143
Ночной аэропорт в Нью-Йорке	146
Чувство	149
Щипок	151
«Сыграй мне полонез Огинского!..»	152
Сирень	154
Русская playmate	155
Рождественские пляжи	157
«Когда совсем уж плохо...»	160
«Пусть жизни пролито полчаши...»	161
Очисти снег	162
Озеро	164
Пловец	165

«Был бы я крестным ходом...»	167
Прощанье с микрофоном	168
Ответ на записку	171
«Ревет судилища орда...»	172
Монолог актера	173
Пожар в Архитектурном институте	175
Поют негры	177
Нью-Йоркские значки	179
Поп-певец	182
Фрагмент автопортрета	184
Люмпен-интеллигенция	187
Прощание с Политехническим	189
«Нас много. Нас может быть четверо...»	192
«Сладким ротиком от халвы...»	194
Деревянный зал	195
Зал Чайковского	198
Пара-шут	200
Пир	203
«Фиалки — твои филиалы...»	206
Мусатовская сирень	208
Секс-контры	210
«Люб мне Маяковский-Командор...»	212
«Сон...»	213
Я — money	214
Хор нимф	215
«Тихо-тихо. Слышно точно...»	217
«С тобой богатыми мы были!..»	218
Не забудь	219
Шло убийство	221
Эфирные стансы	224
Ласточки	227

Я НА ДУХ НАДЕЛ НАПЕРСТОК

Вольноотпущенник времени	231
Париж без рифм	233
«Тьма ежей любого роста...»	239
Старый город	240
Черные простыни	242
Портрет Плисецкой	244
Б. Пастернак	254
Исповедь «сырихи»	255
Неба бы...	258
«Читаю небо, став душою зорче...»	261
Скрытымным	262
Сон	264
Баллада	267
Русская песня	269

ЛЮБОВЬ — ВЕЛИКАЯ БОЯЗНЬ

«Октябрьский»	273
Реквием оптимистический	275
Похороны Гоголя Николая Васильевича	278
«Есть русская интеллигенция...»	284
«Пострашнее мышеловок...»	285
Помилуй, Господи...	286
Легенда	288
Ров	290
«Жаль, что проходит на «ура»...»	292
«Ну почему он столько раз про ос...»	294
Молитва	295
«Не отрекусь...»	297
Выпусти птицу!	299

Заповедь	302
Русские поэты	304
Лесной регтайм	306
Мать	308
«Единственно живой среди неживых...»	311
«Кончину чую. Но не знаю часа...»	312
Масличная ветвь	313
Аве, Оза...	316



Литературно-художественное издание
Вознесенский Андрей Андреевич
ЛИРИКА

Ответственный редактор *И. Топоркова*
Художественный редактор *А. Новиков*
Компьютерная графика *Г. Булгакова*
Технический редактор *В. Бардышева*
Компьютерная верстка *Г. Павлова*
Корректор *О. Благова*

В оформлении переплета использована работа
А. Вознесенского «А. А. Ахматова», 1991 г.

ООО «Издательство «Эксмо».
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5.
Тел.: 411-68-86, 956-39-21.

Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

Оптовая торговля:

109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2.
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16.

Многоканальный тел. 411-50-74. E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.

Подписано в печать с готовых монтажей 14.07.2004

Формат 60x90^{1/32}. Гарнитура «Петербург»

Печать офсетная. Бум. тип. Усл. печ. л. 11,0

Доп. тираж 3 000 экз. Заказ № 3509

ISBN 5-699-03330-0



9 785699 033300 >

Отпечатано с готовых диапозитивов во ФГУП ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

